

KULTURA

Szkice • Opowiadania • Sprawozdania

PARYŻ

Nr 2

1971



• «*La Culture*» • *Revue mensuelle* •

НОМЕР ПОСВЯЩЕННЫЙ
ПОЛЬСКО-РУССКИМ
ОТНОШЕНИЯМ

Содержание

—	Од редакции	3
Ганна Костек:	Разговор по душам	5
—	Мы нужны друг другу	25
Лешек Колаковский:	Тезисы о надежде и безнадежности	37
Ежи Стемповский:	Поляки в романах Достоевского	59
Чеслав Милош:	Фантастика и пришествие Антихриста	77
Г. Герлинг-Грудзинский:	Воскресение	93
Витольд Гомбрович:	Берлинский дневник	109

С Т И Х И

Мариан Панковский:	Болеслав Лесмян	139
Болеслав Лесмян:	Песни Василисы Премудрой	141
Виктор Вайнтрауб:	Владислав Броневский	144

П У Б Л И Ц И С Т И К А

Юлиуш Меровский:	Может случиться и так...	149
Антони Гutowский:	Логика идеологии и логика экономики	164
—	Студенческие волнения: Март 1968	178

К Н И Г И

Милован Джилас:	Над Догматом	189
Адам Кручек:	Падение Советской Империи	195
—	Несколько слов об Анджее Ставаре	200
Анджей Ставар:	О Советской бюрократии	201

KULTURA

Szkice • Opowiadania • Sprawozdania

PARYŻ

Nr 2

1971

INSTYTUT



LITERACKI

От редакции

10 лет назад, к нашему первому русскому номеру мы дали это предисловие.

«Культура» — польский журнал, уже 13 лет выходящий в Париже. Страна, в которой мы издаем наш журнал и тот факт, что мы материально абсолютно не зависим ни от какой организации или политической партии, дает нам полную свободу высказывания.

Одна из задач, которую мы себе ставим, — борьба с агрессивным шовинизмом, из-за которого невозможны не только мирное сожительство, но и честный диалог.

В 1863-1864 годах, во время третьего восстания Польши, которое закончилось подавлением и ссылкой тысяч поляков в Сибирь, — в момент, когда чувства поляков по отношению к русским и русских к полякам достигли наибольшей враждебности, когда Герцен, ставший в этой борьбе на сторону Польши, восстановил против себя часть своих читателей, — польский эмигрант Норвид, гениальный поэт, призывал поляков в самый разгар восстания начать диалог с русскими. Он подчеркивает необходимость существования сторонников Польши в России, как и сторонников России в Польше.

По мнению Норвида «Польша и Россия сталкиваются друг с другом как два монолита, не имеющих ничего промежуточного». Норвид призывает к диалогу, потому что, — «при столкновении двух монолитов ничего не остается, кроме полного разрушения». Норвид с горечью дает свою оценку политическому кругозору своих соотечественников, которые вместо развития политической мысли «делают ставку на то, что они называют жертвой крови поколений, а что есть периодическое избиение невинных каждые 15 лет».

Норвид указывает на то, что, помимо всех разногласий, которые разделяют Польшу и Россию, существует и то, что связывает эти два народа: целый мир общих переживаний, контактов, схожих черт характера, смешения крови и даже жестокая борьба, являющаяся трагическим способом познания.

Помнить взаимные обиды — наиболее легкий путь, легко видеть друг друга в кривом зеркале. Даже великий Достоевский

не сделал попытки освободиться от карикатурного взгляда на Польшу.

Как же удивляться тому, что в польской массе, так же как и в русской, — все еще живут «антирусские» и «антипольские» затертые, созданные обыденщиной, общие места?

Но настоящий польско-русский диалог существовал всегда. Нужно ли напоминать о дружбе Мицкевича с декабристами и с Пушкиным (до того, как политические события, последовавшие за польским восстанием, разъединили их).

Больше чем дружба, близкое политическое сотрудничество Герцена с польской демократической эмиграцией, это еще пример, о котором нельзя забывать, также как о тех численных и сильных узах, связывавших русских и поляков в революционных движениях конца 19-го и начала 20-го века.

Издавая настоящий номер «Культуры» на русском языке, мы преследуем определенную цель: рядом с поисками собственного пути развития польской мысли, основанной на конкретной современной реальности — мы хотели бы помочь высказаться молодой русской мысли вне цензуры государства и цензуры окружающей среды.

В 1959 г. мы издали «Д-ра Живаго», в переводе одного из лучших польских стилистов. В этом году мы издали — на польском языке «Суд идет». Этот рассказ молодого советского писателя появляется по-русски в первый раз на страницах настоящего номера нашего журнала.

Редкий успех этого произведения, переведенного вслед за нашим переводом на 24 языка, свидетельствует о том, как мир прислушивается и ждет правдивого голоса из Советской России.

Мы хотели бы и в дальнейшем печатать произведения русских писателей и тем самым стать связующим звеном между ними и остальным миром. Мы хотели бы, если это нам удастся, эту связь углублять и расширять.

1960 г.

Разговор по душам

Этот, уже второй по счету, номер «Культуры» подготовлен с мыслью о русском читателе узким кругом польских писателей и журналистов, вот уже 23 года издающих журнал во Франции.

Мне кажется, однако, что содержащемуся в журнале материалу должен предшествовать голос рядового читателя. Одного из тех, кто вот уже 23 года ловят в Польше каждую возможность прочесть номер «Культуры».

Этот журнал читают в Польше так, как не читают никакой другой теперь и, возможно, никогда не читали никакой другой прежде. Его носят и перелистывают украдкой. Его хранение преследуется по закону. И тем не менее, журнал вырывают друг у друга из рук и читают от доски даже люди, далекие от взглядов редакции. Даже преследователи и клеветники, беспрерывно его порочащие.

«Культуру» читают с таким вниманием потому, что никто, в сущности, не считает ее эмигрантским журналом. Наоборот, ее принимают за свободный голос польского общественного мнения. А по меньшей мере — за голос польской интеллигенции, сознательно продолжающей традиции рационализма и демократии, считающиеся — не всегда, правда, в полном соответствии с действительностью, — ее духовным наследием.

К журналу так относятся потому, между прочим, что значительную часть каждого номера заполняют работы польских писателей, ученых и публицистов, живущих в Польше. Чаще всего они пишут под псевдонимами, но иногда выступают и с открытым забралом.

Одной же из важнейших причин значения журнала и всеобщего к нему интереса является, без сомнения, подход к польско-советским отношениям с точки зрения совместной жизни поляков и русских.

Проблема эта в Польше скрывается под горами лжи и остается в то же время наиболее болезненной. Отсутствие возможности раскрытия и проверки всех претензий, обид и опасений, связанных для нас с понятием России, лишь углубляет разрыв между двумя народами и заостряет национальные комплексы, которые давно уже должны были исчезнуть в песках истории.

«Культура» ставит русский вопрос открыто, обращается в своих публикациях к историческим источникам противоречий, проводя в то же время линию соглашения с русскими для того, чтобы начать переговоры за чистым столом.

Все, что мы читали в «Культуре» на эту тему, убеждало нас в том, что круг сотрудников журнала считает вопрос польско-русских отношений жизненно важным, определяющим будущее Польши. Никто здесь не относился к русским и России, как это делали другие поляки, (не притворялся, что русские и Россия не существуют). Я имею в виду тех, кто пытался защитить польскую культуру и национальный характер посредством судорожной изоляции, наглухо отгораживаясь от всяких влияний с Востока. «Культура» совершенно очевидно примыкает к другой традиции, которая не меньше а, пожалуй, больше помогла делу защиты польской независимости и специфики польской культуры.

Еще до первой мировой войны мыслитель и критик Станислав Бжозовский писал в тоне открытой полемики:

«Вот уже долгие годы я много думаю о русской литературе и занимаюсь ею. Я понимаю, как мне кажется, что в ней происходит сегодня. В связи с этим, я считаю необходимым для нас проникнуть в самое сердце этой бурлящей духовной жизни. Мы обязаны думать о России как о великой и страшной действительности. На нашем историческом пути мы так или иначе будем с этой действительностью сталкиваться».

Но не только парижская «Культура» придает русскому вопросу огромное значение. Все газеты и журналы в Польше ежедневно (а особенно по праздникам) отводят этой

теме много места. «Культура», однако, держалась и придерживается определенной программы, притягивавшей особенное внимание в Польше. Основной пункт этой программы принципиально отличается от официальных тезисов. Речь идет о взаимопонимании и соглашении поляков и русских над головами правительств и над траншеями традиций вражды. В Польше эти траншеи замазывают клеем. Необходимо их засыпать по-настоящему — но не для обхода соседей с тыла. Старый польский лозунг «Свободные со свободными, равные с равными» редакция «Культуры» принимает всерьез.

Кроме того, этот журнал и существующий параллельно Литературный Институт ставят эти проблемы без конъюнктурных уверток, без так хорошо известной и русским и полякам «показухи».

В 1933 году, вскоре после заключения Москвой и Варшавой пакта о ненападении, одновременно в обеих столицах вышли специальные издания литературных журналов, посвященные культурной жизни соседей. Это было жестом доброй воли и одновременно источником непосредственной информации, отсутствовавшей со времен революции. Варшавские «Вядомости Литерацке» опубликовали толстую тетрадь, заполненную исключительно статьями, стихами, рассказами выдающихся советских писателей и журналистов, в отличных переводах лучших польских литераторов. Старшее поколение до сих пор помнит с каким любопытством, почти с благоговением, читался этот номер. Блистали в нем имена и произведения, которыми могла бы гордиться каждая литература. Были там Пильняк, Бабель, Третьяков, Пудовкин, Мейерхольд и целая плеяда превосходных публицистов во главе с Карлом Радеком.

Скоро большинство этих имен исчезло с книжных полок в Советском Союзе и очутилось в списке жертв террора. Но это было позже. А в то время — в наиболее влиятельном польском журнале — эти писатели красноречиво защищали имя своей страны и ее культуры самым качеством своих произведений. Этот номер «Вядомости» был моментально исчерпан.

Одновременно «Литературная газета» выпустила специальный номер, полностью посвященный присланным из Варшавы произведениям самых известных польских писателей. С тем, однако, что в Советском Союзе никто

этого номера, вероятно, не видел и не читал. Отпечатано небольшое количество экземпляров, предназначенных для высылки за границу — в Польшу.

Это был один из редких примеров чистой «показухи». Техника эта применялась в СССР все чаще и чаще и, в конце концов, стала настоящим кошмаром, искажающим культурную, политическую и, прежде всего, экономическую жизнь. Все — от выставок и ярмарок до статей Конституции — полно примерами «липы». У этого метода фабрикация мишурной действительности, кропотливо создаваемой, но наивной в своей простоте, старые традиции в России. Он всегда привлекал власти и наиболее известным его примером остаются потемкинские деревни.*)

Но давно это перестало быть русской специальностью.

Официальные мероприятия, посвященные у нас польско-советской дружбе — не что иное, как показы никого не касающейся заурядности, подобранной, казалось бы, чеховским Беликовым. Они не дают никакого понятия о скрытой духовной жизни СССР и не могут возбудить интереса и симпатии к соседям.

Беда не заключается в неполадках или бездарности организаторов и я не собираюсь давать советов деятелям Общества Польско-Советской Дружбы. Причины гораздо глубже. У них многолетняя традиция. Сквозь неумелую фальсификацию прорывается все более отчетливо сознательный замысел.

Обязанность добиваться взаимопонимания и согласия с русскими падает на плечи диссидентов, оппозиции — поскольку официальные круги по сути дела не желают настоящего сближения.

Тем временем — такого рода согласие необходимо и

*) «Умерщвленная свобода стала украшением государства, но украшением бесполезным. Мертвая свобода стала главным актером в гигантской инсценировке, в театральном представлении невиданного объема. Государство без свободы создало макет парламента, выборов, профессиональных союзов, макет общества и общественной жизни. В государстве без свободы макеты правлений колхозов, правлений союза писателей и художников, макеты президиумов райисполкомов и облисполкомов, макеты бюро, пленумов райкомов, обкомов и центральных комитетов национальных компартий обсуждали дела и выносили решения, которые были вынесены заранее совсем в другом месте. Даже президиум Центрального Комитета партии был театром».

(В. Гроссман «Все течет»)

вовсе не из принципа, не во имя забытых лозунгов интернационализма. Сохраняя к этим лозунгам все уважение, следует обратить внимание на непосредственную и грозную необходимость, о которой еще пойдет речь. Прежде, чем действовать, надо эту необходимость осознать. Немалым препятствием здесь есть и будет всякая официальная болтовня, всякая пропагандная «липа».

Настоящий номер «Культуры» не является специальным выпуском. Он включает, в принципе, лишь произведения, уже печатавшиеся в этом же журнале по-польски.

Все эти работы, конечно, написаны в последнее время. Но похожих по содержанию материалов было в «Культуре» много с самого начала. В числе 200 томов, изданных Библиотекой «Культуры» по крайней мере 30 книг на русскую тему, а еще 15 томов это переводы с русского. В «Исторических Тетрадах», также издающихся Литературным Институтом множество работ связано с русским вопросом. Институт выпускает, кроме того, специальную серию «Архив Революции», представляющую собой подлинные русские документы, относящиеся к Советскому Союзу.

Смысл всего этого был бы сомнителен, если бы подборка работ отличалась враждебностью к советскому обществу, защищая тезисы о неизменности русской души и ее захватническом духе. Я не отрицаю, что в польской литературе было немало таких произведений. Положение Польши и роль России в ее истории достаточно оправдывает этого рода настроения. Но в «Культуре» подобная тенденция представляется лишь для того, чтобы вести с ней полемику на равных началах, но безо всяких национальных комплексов.

Стоит знать, что ближайшими сотрудниками журнала были замечательные писатели, знающие русские дела по личному опыту. Опыт этот был чаще всего тяжелым и горьким, но Ежи Стемповский (Павел Гостовец), Юзеф Чапский, Чеслав Милош, Густав Герлинг-Грудзинский сразу же и совершенно натурально разграничили, говоря о России, о Советском Союзе и его истории, власть и подданных.

Невозможно делать здесь библиографического обзора. Надо, однако, упомянуть книгу Густава Герлинга-Грудзинского «Другой мир», опубликованную в III томе серии «Архив Революции», издающейся Литературным Институтом.

Это был один из первых в мире рассказов бывшего

заключенного советских лагерей. Автор попал в лагерь — как столько других поляков — в сентябре 1939 года. Вышел же на свободу только после гитлеровского нападения на СССР. Тогда немцы в течение одного дня перестали быть драгоценными союзниками, а поляки — поджигателями войны и врагами революции. Несмотря на то, что со времени опубликования книги Грудзинского вышли десятки воспоминаний бывших заключенных, рассказов и статей на эту тему, «Другой мир» занимает особое место, значение его, пожалуй, лишь возросло. Написанная пером прекрасного прозаика, великолепного стилиста, книга, по своей литературной форме является сознательной репликой на «Записки из мертвого дома» Достоевского. И все же мне кажется, что важнейшая черта «Другого мира» — пронзительная нота сочувствия к советским людям, сотоварищам по заключению. Сочувствия ко всем, не исключая охранников. Нет в книге и следа злобы, племенной ненависти к тем, кто молоденького писателя, участника борьбы с немцами, искавшего убежища на свободной восточной территории — наградили преследованиями, следствием, каторгой и унижением.

Можно думать, что именно этот тон, а не только сенсационные детали побудили Бертранда Рассела написать предисловие к «Другому миру».

Таков общий смысл и книг Юзефа Чапского, прекрасного художника и публициста. После освобождения из лагеря в 1941 году он стал уполномоченным Польской Армии в СССР (речь идет о корпусе генерала Андерса, воевавшем затем в Италии) по розыскам более десяти тысяч польских офицеров, попавших в советский плен в 1939 г. Из ссылки вернулась лишь незначительная их часть. Чапский, разыскивая пропавших без вести, добрался до самых высоких порогов, объездил половину России — без положительных результатов. Почти все пленные к тому времени были уже расстреляны, а из засекреченных мест погребения раскрыты позднее лишь массовые могилы в Катыни. Москва до сих пор хранит их простую и страшную тайну.

Но из книги Чапского «На бесчеловечной земле» остаются в памяти и страницы, посвященные встречам с русскими писателями; мало кто писал об Анне Ахматовой так, как этот поляк. Но меня, однако, еще больше трогают в книге Чапского сжатые описания встречи в Чкалове с

бывшим заключенным, просящим хлеба, или разговора о литературе с русским железнодорожником. Это места, полные возрожденного чувства братства и горячего сочувствия.

Я не собираюсь убеждать русских в самаританской деятельности «Культуры» и в сентиментальной любви, переполняющей ее сотрудников. Нам, читателям, этот журнал кажется средоточием трезвой политической мысли. Его программа в русском вопросе никак не вегетарианская и, кстати, не так уж удобоварима для многих поляков. Для того, чтобы обосновать свою программу, журнал приводит исторические параллели, ссылается на традиции, не скрывая, как часто рушились попытки создать человеческие и свободные от страха взаимоотношения русских и поляков. Тем более хочется мне подчеркнуть, какое впечатление произвела на нас изданная в Библиотеке «Культуры» работа Вацлава Ледницкого «Русско-польское сердечное согласие 1903-1905».

Книга не только защищает политику отца автора, Александра Ледницкого, пытавшегося договориться с русскими либералами, и не только сообщает множество данных об этих людях, дает широкую панораму важной эпохи, — но и рисует конкретный пример практического совместного действия прогрессивных русских и польских политиков. Такое сотрудничество было — и продолжалось несколько лет, давая хорошие результаты. И это, как подчеркивает Ледницкий, несмотря на союз деспотической русской власти с польским националистическим правым крылом. Одним из первых официальных актов Временного Правительства во главе с конституционным демократом князем Львовым после февральской революции 1917 года было провозглашение независимости Польши. Как правильно подчеркивает Ледницкий, этот акт следует считать выполнением обязательства, взятого русскими демократами по отношению к польским товарищам по борьбе с самодержавием.

Но в той же, изданной в 1966 году, книге Вацлав Ледницкий пишет, стараясь посредством контраста прибавить славы минувшим дням:

«... антирусские чувства никогда не были в Польше такими глубокими, как сегодня. Если после разделов русофобия отличала главным образом интеллигенцию Королевства и Галиции (Познань была захвачена борь-

бой с германизмом), то народные массы были скорее всего равнодушны. В наше время тот, кто захотел бы найти хотя бы интерес, я не говорю о симпатии к России, мог бы встретиться с этим лишь среди нескольких ученых-славистов...»

В этом Ледницкий глубоко ошибается, как многие эмигранты, не знающие вблизи Польши, особенно польской молодежи. В стране происходят изменения, побуждающие к размышлениям, — и в последнее, невеселое время, принадлежащие как раз к тем, которые дают некоторые надежды.

Номера еженедельника «Политика», печатавшего «Один день Ивана Денисовича» зачитаны до дыр: повесть не вышла в книжном издании.

Польские публикации некоторых советских писателей, не издававшихся до 1956 года, исчезли из книжных магазинов сразу же после выхода в свет. Сейчас, впрочем, их опять не издают. Опять надо одалживать томики Платонова, Паустовского, Бабея, Веселого или прекрасную книгу Ворошильского о Маяковском. Экскурсанты из России, прежде окруженные молчаливым равнодушием, теперь чувствуют перемену: часто просят у них пленки Галича или Высоцкого. Даже пластинку Окуджавы выпустили — кроме Франции — лишь в Польше и те, у кого она есть, берегут ее как зеницу ока.

Если сегодня многие поляки видят различие между советской властью и советскими гражданами, если они не видят в рядовом жителе СССР чужого или врага — происходит это не благодаря, а вопреки официальной политике. Несколько опальных русских писателей или артистов сделало больше, чем все политики и пропагандисты вместе взятые.

И «Культура» и ее книги играют особую роль в этом деле. Многие годы этот журнал показывает полякам другую Россию. Охотно, кропотливо и тщательно он отдает голос выдающимся русским талантам. На страницах «Культуры» и в ее издательстве появились книги Александра Солженицына, которых иначе поляки бы не узнали, а теперь читают несмотря на все запреты. Среди них «В круге первом». Именно в Библиотеке «Культуры» вышел «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Именно в Париже увидели свет произведения, печатавшиеся уже в

СССР, но которых никто не осмелился опубликовать в Польше, между прочим антология «В собственных глазах», включившая рассказы Максимов, Яшина, Солженицына и другие свидетельства таланта и подлинной патриотической тревоги. «Культура» перевела и выпустила воспоминания Галины Серебряковой, «Защитника Седова», Зверева, стихи И. Бродского, Наталии Горбаневской, она опубликовала первый польский перевод «Реквиема» Анны Ахматовой и много произведений Осипа Мандельштама.

То, что «Культура» говорит о русских и печатающиеся ею русские произведения становятся в сознании поляков новой исходной точкой, необремененной подозрениями в политическом прислужничестве советской власти. Тем более это приковывает всеобщее внимание.

Огромную роль здесь играет публицистика Юлиуша Мерошевского. Он, без сомнения, наиболее внимательно читаемый польский политический очеркист. На протяжении многих лет его статьи являются важной и неотъемлемой частью чрезвычайно терпимой политики «Культуры». Мерошевский не только один из редких польских публицистов не из-под палки, но талантливо и убежденно защищающих социалистические принципы. Более того, именно он в русском вопросе чаще всех формулирует положения, привлекающие внимание читателей в Польше.

И не только в Польше, не только поляков.

Читатели «Культуры» не сочли случайным то, что начиная с 1960 года, — сначала в журнале и затем отдельными изданиями, — публикуются переводы рассказов Абрама Терца и Николая Аржака. Они привлекли всеобщее внимание и доказали, что в России таланты продолжают расцветать несмотря ни на что. Это было еще до того, как оказалось, что речь идет об Андрее Синявском и Юлии Даниэле, до того, как оба писателя подверглись тяжелым преследованиям. То, что их произведения вышли сначала по-польски не было результатом темного заговора, а прямым следствием убеждения, что именно в этом польском журнале свободный голос русского автора будет понят и услышан лучше всего. Характерно, что оба выдающихся и отважных писателя послали свои произведения не в многочисленные и старые органы русской белой эмиграции. Ближе им был журнал польский, но порывающий как со старыми роковыми традициями, так и с новым беспомощным

конформизмом. Можно утверждать, что они не ошиблись в поляках.

Кажется, что именно друг у друга мы можем искать понимания и помощи.

Для западного общественного мнения, особенно для его массовых органов — существующих ведь для прибыли — наши обиды и требования — лишь материал для сенсационных заголовков.

Для правительств — в лучшем случае элемент торга в переговорах с правительствами социалистических стран.

Для большей части левого крыла западной интеллигенции наш опыт представляется чем-то вроде назойливого диссонанса из темного угла сцены во время репетиции одного и того же концерта.

Мы можем и должны рассчитывать на себя — особенно разговаривая о вещах, для которых нам не нужны многие слова. В конце концов, только мы люди из нашего Лагеря — можем сегодня осмелиться употреблять такие слова, как — социализм. Мы знаем по опыту по крайней мере то, чем видимость отличается от содержания. Мы знаем, как это понятие официально искажается и чего нехватает нашей системе для того, чтобы указывать пути к будущему не другим даже, но и самой себе. Мы можем разговаривать без истинно библейского смещения языков, болезни западной интеллигенции. Все, кто не захочет вызубрить наизусть нашего великого и страшного опыта, будет вынужден его повторить целиком и полностью — может быть, с Колымой включительно.

Однако, не в том дело, чтобы поучать других. Надо спасать самих себя.

Не думаю, чтобы это было возможным без двухстороннего сопротивления попыткам использовать нас друг против друга. Я принадлежу к тем, кто считает, что без свободной России нет свободной Польши. Мне кажется, однако, что не следует ждать, пока Центр выйдет из пещерной эпохи усилиями самих русских. В пещерах всякие изменения достигаются после мордобоя в темноте и всегда приходят слишком поздно. Можно опасаться, что в русской традиции нет примеров, ясным для всех образом указывающих на свободу, как источник развития и силы.

Василий Гроссман оставил горькую и замечательную книгу, которая лишь сейчас доходит до читателей — «Все течет». Он пишет в ней (стр. 178 русского издания):

«... росла тайная пропасть в самой сокровенной сути русской жизни и жизни Европы.

Бездна эта была в том, что развитие Запада оплодотворялось ростом свободы, а развитие России оплодотворялось ростом рабства. ... Русское развитие обнаружило странное существо свое — оно стало развитием несвободы. Год от года все жестче становилась крестьянская крепость, все таяло мужичье право на землю, а между тем русская наука, техника, просвещение все росли да росли, сливаясь с ростом русского рабства».

Диагноз необыкновенно суровый, продиктованный полной отчаяния заботой. Можно ответить, что развитие науки, техники, просвещения происходило не б л а г о д а р я, а в о п р е к и развитию рабства. Рабство сокрушало не только человеческие кости, права и души, оно уничтожало производственные силы. А также умы, дарования, таланты.

Иногда нам кажется, что Россия управлялась и управляется сегодня многоголовым Дантесом. Воистину — «не пожалел он русской славы»...

Избиение поколений замечательных умов и золотых рук наверняка не помогло развитию русской науки, культуры, промышленности. Могло бы оно показаться необходимой, хотя и ростовщической платой за послушание остальных, нужное для достижения великих целей.

Но ни одна из этих целей не была достигнута — и об этом русские прекрасно знают — так хорошо и верно, как могли бы это сделать свободные люди. Самое же важное, что задачи, стоящие перед Россией и СССР сейчас, могут быть решены только свободными людьми. Требуются сегодня не послушные лопаты, а интеллектуальная свобода высококвалифицированных специалистов, неоторванных от прогресса мысли во всем мире и несвязанных указаниями свыше. Иначе России обеспечено поражение в соперничестве не только на поле науки и цивилизации, но промышленности и вооружения. Ключевая роль интеллигенции в такой ситуации — вот причина того, что не только массовые репрессии, но и попытки принудить к прежнему послушанию равны самоубийству. Такая политика ведет за собой лишь несамостоятельность, а значит, неспособность к раз-

виту, к повышению производительности квалифицированного труда.

Нет гарантии, что стремлений к самоубийству не будет. Угроза войны не помешала Сталину лишиться в 1938 г. Красную Армию опытных офицерских кадров. Результат — немцы дошли до Волги и разглядывали Кремль в бинокль.

Тогда СССР спасли не только пространство, не только иностранная помощь, но прежде всего благоприятное количественное соотношение сил, безграничность человеческих и других резервов. Сегодня количественный перевес ничего не означает. Все решает качество знаний, изделий и программ. Люди, представляющие подлинную теорию развития СССР, попрежнему остаются в опасности.

Россия — это беспредельность, дающая русским чувство безопасности, которое постепенно превратилось в чувство безысходности.

Какие-то гарантии против так опасных для самих русских рефлексов все-таки существуют. Руководители должны считаться с элементами, определенно ограничивающими их абсолютистские тенденции и репрессивные действия. Таким тормозом является стремление других стран Лагерь к большей самостоятельности. У нас есть, однако, опасения, что вовсе не для всех русских большая свобода соседей — это залог их собственного развития и безопасности. Несмотря на то, что необходимость новых методов экономической и социальной политики видна, как на ладони, страны социалистического лагеря с давно сложившимися благоприятными условиями все еще поддаются принужденной унификации. Эта жалкая обратная связь убийственна для самого Центра.

Пример Польши доказывает это, может быть, наиболее ясно. У него далекие и всем известные исторические корни. Самые тяжелые периоды рабства в России начинались с уничтожения свободы в Польше. А то, что поляки сумели завоевать для себя, неоднократно приобщалось и русским. Об этом говорит история.

Для того, чтобы ввести железный режим в России, Николай I должен был сначала отменить конституцию Польского Королевства, ликвидировать права и вольности поляков. Вся история этой эпохи доказывает, что польские восстания были ответом на эти тенденции, а не наоборот. Весь XIX век репрессии и ограничения, направленные против русского народа, оправдывались польской опасностью,

раскрытием польской провокации, польской интриги. Поляки в полицейских сценариях того времени играли ту же роль, какую сегодня играют сионисты.

С другой стороны, — это в Польше началась революция 1905 года. Каждый читатель «Краткого курса истории ВКП(б)» знает, что она началась с возбуждения в Польше, с забастовок и баррикад в Лодзи. В той же Лодзи, которая теперь напомнила о себе победной забастовкой. Революции 1905 года Россия обязана своей первой в истории конституцией, первым парламентом, гражданскими свободами, сокращением рабочего дня и прежде всего — внезапным скачком в области промышленности, развития техники и сельского хозяйства.

Мятеж польских рабочих, начавшийся в декабре 1970 года с забастовок и столкновений в городах Побережья, не кончился изменениями в персональном составе руководства. Он не только принудил руководство пойти на уступки в пользу польского рабочего класса и — благодаря именно этому классу, это у нас понятно каждому, — в пользу всего народа. Кроме того, возмущение рабочих повлекло за собой перемены в составе и деятельности профсоюзов во всех странах социалистического лагеря. Это еще одно доказательство, что руководство оказалось вынужденным считаться с интересами трудящихся масс, которые до сих пор практически были лишь объектом политических действий, самых произвольных маневров и неограниченного нажима. Наиболее дилетантские и рискованные расчеты были возможны благодаря великому безмолвию рабочего класса. Поэтому то, что случилось в Польше, имеет, по сути дела, переломное значение. И это невзирая на разные мелкие амбиции и провокации. В Польше возникло эффективное движение высококвалифицированных специалистов, рабочих современной промышленности. Это не была беспорядочная реакция темной толпы, но выступление слоя *н е о б х о д и м о г о* для самого существования нации. Рабочий класс у нас не только перестал быть меньшинством по сравнению с крестьянством, не только массово приобретает интеллигентский статус, но и осознает свое значение, силу, осознает ценность солидарности. Этого не отменить декретом, не задушить без опасности для целостности всего блока. Это не национальный конфликт, который можно изолировать. Запомним эту простую истину.

Если бы попытки замазывать или изолировать этот

конфликт проводились по старым принципам, известным из истории классовой борьбы и классической марксистской литературы, то в рамках социалистического лагеря напоминали бы они детское деление супа на порции в общей тарелке.

Наши страны — это сообщающиеся сосуды. Но эта истина, которая казалась такой выгодной властям с их унификационными планами, поворачивается несподручной для них стороной.

Сегодня меньше всего заинтересованы во взаимопонимании, согласии и обмене опытом между русскими и поляками именно официальные глашатаи Дружбы.

Для того, чтобы сохранить и консервировать существующее положение вещей — систему и состав власти, распределение доходов, рабочих отношений, иерархию нужд, принятый шаблон мышления и деятельности, суждений и наказаний, — для всего этого особенно нужными становятся пропаганда и распространение национализма.

Надеждой на прочность состояния безволия общества стала не дружба и согласие, а взаимное недоверие и враждебность русских и поляков.

И действительно — уже проводятся попытки раздуть эту неприязнь с обеих сторон.

Во время мятежа и забастовок рабочих в декабре 1970 — феврале 1971 гг. в Гданьске, Штеттине, Лодзи среди многочисленных лозунгов не было ни одного не только антирусского, но даже обращенного против состояния — весьма скверного — польско-советских отношений.

То же было в марте 1968 года, во время студенческих волнений.

Несмотря на это, призрак советского вооруженного вмешательства таился за каждым предостережением, направленным по адресу польского пролетариата политиками. Была ли это искренняя тревога или шантаж — не имеет значения. Важно, что все ощущали реальность этой угрозы.

С другой стороны, полицейская фракция польской партии и в марте 1968 и в декабре 1970 г. на словах и в печати делала клеветнические намеки на антисоветские лозунги, якобы выдвигаемые польскими студентами и рабочими, на ненависть, которой поляки пылают к восточным соседям. Всем было ясно, что адресаты этой клеветы живут в Москве и речь шла о том, чтобы любой ценой продемонстрировать свою бдительность.

У этих провокаций не было бы никаких шансов на успех, если бы у советских граждан, прежде всего — у русских, не поддерживался психоз окружения, вражды, ненависти со стороны соседей. Все стремления поляков, опережающие нерадивые проекты Центра, будут представляться русским, как покушение не на идеологию и единство блока, а просто на дружественный русский народ. Об этом можно судить не только на основании старого, дореволюционного опыта, но и на примере Чехословакии. Народы этой страны были чуть ли не единственными во всем социалистическом лагере, которых нельзя было подозревать в антирусских настроениях и традициях. Таких традиций никогда и не было. Даже болгары, многим действительно обязанные России, в двух войнах принимали участие на стороне немцев. Чехословакия же была столпом и оплотом русского панславизма на Западе и до августа 1968 года ничего в этом отношении не изменилось.

И вот на протяжении целых месяцев, предшествующих интервенции, печатать, радио и телевидение соседей, в особенности СССР, были заполнены известиями о том, что чехи и словаки намереваются броситься в объятия западных капиталистов — прежде всего немцев — и оторваться от семьи социалистических народов и от верных друзей — русских. Поскольку ни одна фабрика и ни один кооператив в ЧССР не перешли в частные руки — такие утверждения казались по меньшей мере странными. Деталей, впрочем, не приводили. Навязывался очевидный вывод, что речь идет о предательстве, подлом разрыве с любящей, славянской Россией. То, что эти претензии относились к большинству чешской общественности, к самому народу, доказывал факт вооруженной интервенции: как видно, защитники «доброго дела» оказались в таком меньшинстве, что не смогли сами справиться. Два народа стали жертвами массовых репрессий. Это вошло в национальную историю, в национальную память, определило коллективные чувства. Сейчас русские не могут питать иллюзий относительно этих чувств.

Так называемая доктрина Брежнева об ограниченном суверенитете и возможной интервенции в социалистических странах рассеивает надежды на согласие соседних народов и воскрешает старый призрак. Эта доктрина становится катализатором недоверия и неприязни к русским.

Ведь русские составляют ядро и огромное большинство интервенционных войск.

Операция, начатая во имя борьбы с идеологической заразой, с духом реформ. — превратилась в международную ссору, разожгла взаимную вражду. Вот новая закономерность. Подливать в этот огонь масло открытого, официального национализма — значит, создавать положение, из которого выход один — взрыв. А если угроза со стороны Китая реальна, то защита сталинских порядков в европейских социалистических странах может дорого стоить СССР и самим русским. Дороже, чем все реформы.

Можно сказать — главная и общая опасность для нас состоит в том, что к националистической традиции обращаются в е р х и. Влиятельная часть правящего слоя уже водрузилась на этого пожарного коня. И для того, чтобы просто удержаться в седле, они готовы мчаться прямо в огонь. Совсем не для того, чтобы его гасить.

Василий Гроссман пишет в цитируемой книге (стр. 188):

«Эта сила государственного национализма и этот бешеный национализм людских масс, лишенных свободы и человеческого достоинства, стали главным рычагом, термоядерной головкой нового порядка, определили рок двадцатого века».

У национализма, однако, своя логика, свои направляющие напряжения. В нашей части Европы у него свои традиционные, железные рельсы.

Вся традиция русского национализма состоит в угнетении инородцев в рамках общего государства, в рамках социалистического лагеря, в сфере влияния. Он направлен не против внешних врагов. Несмотря на тяжелые войны с французами, японцами, даже с немцами — в фольклоре и литературе не было к ним презрения. Не так дело обстоит с враждой к инородцам. Поляки занимали среди них первое место. Именно Польша была бельмом на глазу русских панславистов. Даже великий Тютчев не удержался и написал о «польском Иуде». Не стоит возвращаться к Аксакову и Каткову. Достаточно взять в руки московский ежемесячник «Молодая гвардия». Мы видим, как ударяют в ту же струну и знаем, что рано или поздно услышим тот же, известный нам звук.

Постыдное развитие враждебности к евреям в СССР понимается у нас всеми как реальное предостережение и верный указатель шовинистической лихорадки. Зараза и на этот раз пришла к нам сверху и с востока.

Если Западная Германия признает границу Одра-Ниса, националистам останется прежде всего разжигание тайной ненависти к соседям по блоку. В Польше эти чувства могут обернуться только против России и русских. Традиция более, чем богата.

Кое-кто в Москве и Варшаве, возможно, всерьез питает надежды на то, что опять удастся замять противоречия. Но национальный эгоизм русских и поляков невозможно примирить. Тем более, если он замещает всякое иное идеологическое содержание.

Журнал, который держит сейчас в руках русский читатель, защищает убеждение о необходимости борьбы с традицией взаимной вражды, защищает убеждение о том, что изменения к лучшему возможны лишь в условиях свободы и равенства, без угрозы и н т е р в е н ц и и с о с т о р о н ы с и л ь н е й ш е г о.

Политические моралисты, говоря об опасностях национализма, ограничиваются обыкновенно общими местами и одними и теми же примерами. То же касается мер противодействия. Но суммарные обвинения не меняют действительности.

Тех русских читателей, которых убедит какая-нибудь мысль, какой-нибудь тон в этом номере «Культуры» — можно просить только об одном. Поляки не ждут ни громких обещаний, ни того, что другие будут за них класть головы на эшафот. Дело в том, чтобы начать действовать в скромных, доступных всем людям доброй воли пределах.

На один из предметов такой деятельности обратил внимание Андрей Амальрик в своей книге «Просуществоет ли СССР до 1984 года?»

Автор рассматривает особую сторону распространенного в России понятия справедливости. Он говорит, что даже оно исказилось: вместо бунта против причины страдания, пострадавший часто желает утешить других на дно вместе с собой.

В повседневной жизни такой подход ведет к беспощадности в личных отношениях, к растущей изоляции и беспомощности человека среди своих ближних. В отноше-

ниях между коллективами, а особенно между народами, это может привести к последствиям, надолго уничтожающим всякую мысль о согласии.

Русские должны отдать себе отчет в самоубийственном вреде такого отношения, — лучше всего определяющегося словом «злорадство» — к соседям: «Ну и что, пусть им будет так же плохо, как и нам, должна же быть справедливость на свете...»

Я полагаю, что так думали голодные и битые солдаты Суворова, занимая богатые итальянские города, дабы изгнать из них революционную заразу. Та же мысль была, наверное, причиной того, что помня о собственном горьком опыте, русские солдаты участвовали без особого волнения и протестов в усмирении социалистической Чехословакии.

Это особенное чувство справедливости уже мстит самим русским. Замыкается заколдованный круг беспомощности. Народ в одиночестве, ибо окруженный глухой ненавистью соседей, он вынужден переносить самую жестокую и консервативную центральную власть — именно потому что ее жестокость, сила и враждебное отношение к переменам ему кажется единственной гарантией против окружающей со всех сторон ненависти.

Поляки имеют право надеяться, что русская интеллигенция приложит усилия, чтобы побороть этот шантаж, чтобы преодолеть это отношение русских.

Это немалое препятствие на пути к реализации надежд, давно уже общих для всех стран социалистического лагеря и сводящихся к устранению всех барьеров, мешающих естественному развитию производственных сил, талантов, собственных мыслей и самостоятельных форм коллективной, личной и духовной жизни. Те же интересы прежде всего у самих русских.

Национальный эгоизм, с его проявлением — особым понятием справедливости, описанным Амальриком, — это камень на шее русских. Никто, кроме них самих не может искоренить это явление, осознать его роль.

Что касается поляков, то борьба с национальным эгоизмом принадлежит к наиболее важным, постоянно поддерживающимся традициям духовной жизни польской интеллигенции. Это видно в польской литературе (не всей, конечно). Обязанность этой борьбы брали на себя именно те деятели и писатели, память о которых живет без напо-

минаний сверху, по выбору польского читателя. Вместо того, чтобы перечислять эти имена, процитируем слова лишь одного из этих писателей, известного зато русским не хуже, чем полякам. Адам Мицкевич сказал:

«Кто говорит об интересах лишь одного народа — враг свободы».

И прежде всего — собственной свободы.

Ганна КОСТЕК

Мы нужны друг другу

Мы связаны, поляки, всегда одной судьбою...

(Б. Окуджава)

I

Истертые лозунги о польско-советской и, с другой стороны, советско-польской дружбе гремят беспрерывно, по всякому поводу, с вызывающей подозрение настойчивостью. Неофициально же хорошо известно, что дело не обстоит ни просто, ни легко. Отставим в сторону недоброжелательность и исторические предубеждения. Они имеют свое значение и продолжают в значительной степени формировать общественное сознание. Однако, в одной статье невозможно их определить надлежащим образом. Будем помнить об обиходной силе таких штампов, как «коварный лях» или «злостный и тупой русификатор-кацап». Но здесь мы ограничимся сегодняшним и вчерашним днем, не погружаясь в глубину времен.

Вот самый сжатый итог польско-русских взаимоотношений.

Поляк с трудом привыкает смотреть на среднего русского вне его политической системы. Это легче для тех, кто пережил военные скитания или мучился в сталинских лагерях. Они столкнулись с человеческой доброжелательностью, подлинно сбратались с советскими людьми в общем несчастье. Они поняли, что эти люди ненавидят со-

ветский строй (даже если эта ненависть сравнительно пассивна или полусознательна) не меньше, чем поляки. В том же убеждаются и те, кто поддерживает сегодня неофициальные контакты с советскими людьми, в СССР или в Польше. Помогли этому опубликованные в Польше произведения, откровенно рассказывающие жестокую правду о сталинском произволе — такие, как «Один день Ивана Денисовича» Солженицына или «Тишина» Бондарева. Сработал простой психологический механизм: оказалось, что граждане СССР пострадали от своей власти еще больше соседних народов. Итак, многое изменилось к лучшему. И все же — не будем скрывать — осталось еще много примитивной неприязни, пробуждающейся, как павловские рефлексы, при звуке русского языка, виде русского шрифта или фамилии с окончанием «-ов» или «-ский». Это связано, между прочим, со снобизмом, неразделенной любовью ко всему западному и игрой в «парижан Востока», с дешевым и мелким чувством превосходства по отношению к тем, у кого хуже манеры и шире брюки. Грубо-примитивная и ханжески-лицемерная пропаганда с ее криками об идиллической взаимной любви и холопское преклонение перед всем, что следует высоко ценить как продукт «первой в мире социалистической страны» не облегчают рождения истинной близости. То же относится к стадным юбилейным церемониям с их тошнотворным курением фимиама и пустословием. Добавим сюда обыкновенный страх, ибо малейшее нарушение внутреннего равновесия в Польше влечет за собой предостерегающий гул соседских танков. Память же о венгерских и чешских событиях в паре с брежневской формулой об ограниченном суверенитете заставляет постоянно опасно поглядывать в сторону Большого Брата — не перестал ли он нас любить? И следовательно, что бы ни говорить об умении отделять среднего русского от его режима, — умения несколько развившегося в последнее время, — вид этого русского слишком часто вызывает у среднего поляка цепь определенно отрицательных рефлексов. Такова действительность.

Русский же, в особенности русский интеллигент, знает об этом или подсознательно это чувствует, и часто соприкасается с тем, что польское, обремененный комплексом вины. Это ощущение вины, как правило, обратно propor-

ционально действительной ответственности. Бывшие колымские заключенные готовы раскаиваться за грехи своих палачей, с бессильным бешенством помня о тридцать девятом или сорок четвертом годах. Угнетаемые собственной цензурой поэты пишут стихи о Катыни. Зато те, кто творил беззакония, отборные кадры заслуженных палачей, — сегодня большей частью на пенсии или работают в другой области, — смотрят на поляков с безмятежным спокойствием. Их не преследуют ночные кошмары. Сознание примитивной силы дает им чувство превосходства. А польское — как же относительное вольнодумство — они снисходительно рассматривают свысока, как выходки ребенка, которого всегда можно хорошенько высечь. Таких, как они меньшинство, но с ними легко столкнуться при официальных сношениях среди «аппаратчиков». Сознание же их существования еще больше отягчает совесть честных людей, чувствующих перед поляками ответственность за та к и х соотечественников, за их грубость и шовинистическую спесь. Тем более, что, как известно по рассказам, состав советских делегаций, выезжающих в Польшу, старательно подбирается. На каждого порядочного человека должна прийти по меньшей мере одна тупая или злорадная сволочь. Отвращение, вызванное ее поведением, переносится на остальных членов делегации.

Итак, вот крайне сжатая обрисовка положения. С одной стороны обиды, с другой — комплексы. Все это непрерывно и бездарно склеивается приторной патокой официальных лозунгов, сквозь которые просвечивает глубокое взаимное недоверие на высоком уровне. (Это подтверждается, между прочим, запретительными инструкциями, которые получают советские граждане, выезжающие или работающие в Польше. В этих инструкциях постоянно подчеркиваются всеобщие антирусские настроения и «коварность» поляков. Предписывается также избегать близких контактов с поляками. Все эти инструкции даются совершенно открыто, без тени стыда). Несомненно, что время работает в пользу здравого смысла и взаимных интересов обоих народов. Достаточно было разрешить частные выезды в обе стороны для того, чтобы ощутился прогресс в этом отношении. Но естественному ходу событий стоит и надо помочь.

Особенно для этого благоприятна область культуры.

II

Что тут говорить, мы нуждаемся друг в друге — по принципу равных услуг. Как раз в области культуры это ясно видно. У советских писателей или художников их польские собратья по перу и кисти могут многому научиться. Лишь бы не тому, конечно, чему пытались их официально научить в сталинские времена — слепому послушанию и плоской унификации стиля. Известно ведь, что советская литература и искусство глубоко расколоты. Поляков может и должно интересовать на востоке все живое, творческое, неконформистское. Польская литература и искусство используют традиционные и тесные связи с западноевропейской культурой. Есть у поляков формальные достижения, которыми они могут быть горды. Польское искусство свободнее русского в поисках, более элегантно, светско, у него лучше манеры. На Востоке же есть примеры смелого углубления в общественные проблемы, страстной борьбы с болячками действительности, умения рисковать во имя гуманных принципов. Риск этот не только политический, но и художественный, состоящий в том, что — по известным словам Рылеева, — поэт прежде всего гражданин, выразитель общественных интересов, заступник угнетенных, обвинитель сильных мира сего, и только потом — художник. С точки зрения чистого искусства, результаты такого отношения бывают сомнительные или половинчатые. Обыкновенно используются формулы традиционного реализма, лишь иногда, и весьма несмело, расширенного. Но это же отношение приносит лучшим советским произведениям искусства высокий мировой авторитет. Оно определяет необходимость советской литературы для западного читателя, не удивляющегося уже никаким формальным экспериментам, но с уважением и одобрением склоняющегося перед Солженицыным, Пастернаком или Булгаковым. На Западе видят в таких произведениях гораздо больше, чем просто политическую новинку, хотя партийные идеологи и пропаганда из кожи лезут вон, пытаясь именно это доказать. Но советская литература несет глубокую правду о жизни людей там и теперь, людей таких же, как и все, а все-таки других, ибо оформившихся в других условиях; людей близких и далеких одновременно. Больше, чем что-либо другое, в наше разрываемое эмоциями время, нам нужно подлинное вза-

имопонимание. И больше, чем что-либо другое, искусство и литература призваны выражать это взаимопонимание. Настоящие творческие достижения советского искусства служат этому делу. Конечно, не будем скрывать, дорогу им пробивает и вес Советского Союза, его значение — положительное или отрицательное, но во всех случаях огромное, — и пропорционально, интерес к СССР на Западе. Такого интереса не привлечь к себе ни одной другой стране восточного блока. Недаром в превосходном рассказе Славомира Мрожека «Мониза Клавье» поляк делает головокружительную карьеру на западе, но только притворяясь... русским. При всем этом, опыт отваги во имя правды, все время возобновляемый лучшими советскими художниками, живущими или умершими, но вновь открытыми — имеет значение и для художников польских.

А что с польскими читателями и зрителями? Нет никакого сомнения, что сближает все живое, творческое, смелое, и наоборот, может лишь углубить существующее расстояние все, рожденное бюрократическим омертвлением и оппортунизмом. Увы, именно в этой последней области после войны работа велась с избытком рвения. Не считая классиков и немногих ценных современных произведений, полякам услужливо и поспешно преподносили — особенно в конце 40-х - начале 50-х годов, — громадное количество пошлого барахла, печального продукта сталинского выхолащивания культуры. Инстинкт самосохранения подсказывал тогда обществу правильное отношение к этому принудительному ввозу изделий «культуры». Непрочитанные книги валяются грудями макулатуры до сегодняшнего дня. Зрительные залы насильно заполнялись экскурсиями и армейскими ротами. К несчастью, это выработало условный рефлекс неприязни ко всему советскому, о котором говорилось выше. В горах макулатуры можно и сегодня найти прекрасные книги, отрезанные от читателей скверными соседями. В телевидении, радио, театре или кино советские произведения заранее вызывают недоверие и не могут рассчитывать на настоящий интерес. Это печальное, но действительное и старательно созданное положение вещей осталось и тогда, когда, пусть в небольшой степени, был введен отбор публикуемых произведений, исходя из их объективной ценности. Моральный ущерб, однако, трудно возместить. Всякая западная халтура с неизмеримо большей легкостью принимается там, куда с превеликим

трудом доходят советские произведения большого искусства. К тому же, в пылу угодливого раболепия, на рубеже 40-х и 50-х годов польские власти по собственному почину изобрели и установили особые правила, утрудняющие доступ хорошей литературе. Долгое время нельзя было печатать вещей, опубликованных в СССР лишь в журналах, а также произведений раннего периода советской литературы, не издававшихся в СССР после войны. Неудивительно, что чехи, не будучи связанными такого рода абсурдными правилами, давно и решительно опередили поляков (не только во время пражской весны, но и раньше и в настоящее время), проникая и выбирая в целом советской литературы. В Чехословакии издаются вещи, которые приводят специалистов из СССР в состояние здоровой зависти, а иногда являются для них открытием.

Возмутительность этой ситуации достигла вершины, когда — как-будто по приказу самого Гомулки — запрещено было в Польше печатание в книжном издании «Одного дня Ивана Денисовича», вышедшего в СССР массовым тиражом. Официальная мотивировка была приблизительно такая: книга раскрывает щекотливые факты, значит, может повлечь рост враждебности к СССР. Известно, впрочем, что такой критерий применялся при оценке всех советских произведений, предпринимающих честное сведение счетов с прошлым. Не стоит тратить слов, доказывая обратное. Об этом мы успели сказать: только искренность в раскрытии преступлений, жертвами которых, сбравшимися в беду, мы были вместе, может принести пользу истинной польско-советской дружбе. Постановку этого вопроса на голову можно было бы списать на счет умственных недостатков человека, тупость которого вошла в поговорку. Однако можно тут отметить отражение по меньшей мере двух более широких и тревожных явлений. Прежде всего речь идет об отношении к общественности как сборищу полных кретинов. Во-вторых, об оценке психологического состояния этой общественности на основе личных, как видно, очень глубоких антисоветских чувств, рожденных рядом причин, восходящих к погрому польской компартии в тридцатые годы. Личные реакции и принципы, сводящиеся к безоговорочному послушанию и непрерывному страху в ожидании внезапного удара со стороны Большого Брата, личная психологическая структура, которую можно определить (не обижая псов, почтенных друзей чело-

века), как собачью — все это приписывалось всей общественности, которая, право, заслужила на лучшую оценку. Недавние события в Польше создали — очень высокой ценой — какие-то шансы на возможные перемены. Может быть, уменьшится хотя бы коэффициент глупости на высших постах?

III

Также и русские (и другие народности СССР) нуждаются в контактах с польской культурой. Нуждаются даже больше, чем вытекало бы из объективного веса этой культуры. Эта потребность определяется скорее особенностью польского положения, что отлично сознают наши восточные соседи. Приезжая в Польшу, они жадно наблюдают прежде всего то, что свидетельствует о непрерывности народной культурной традиции, о связях с прошлым. Их поражает тщательность реконструкции старинной архитектуры. Они задумываются в костелах, которые и верующие и неверующие считают ценными историческими памятниками. Им есть о чем думать. В послереволюционные годы их народ был доведен до безумия разрушения, быть может, менее живописного, чем теперь в Китае, зато значительно более продолжительного и более систематического. В ожесточенном иступлении растаптывали поместья, дворцы, церкви, все старое, думая, что на пустой и сожженной земле можно создать новые ценности. Сегодня официально дан сигнал к отступлению. Делаются усилия для спасения оставшегося, но многое исчезло навсегда. В Польше такого ожесточения, к счастью, не было. На каждом шагу — и не только в области культуры — советский гражданин наталкивается на попытки решений различных вопросов более мягкими, компромиссными, более человеческими, чем на его родине, методами. Издательская политика в Польше, в особенности в деле переводов, несравненно более либеральна. Программы театров и кино представляют превосходную — о чем многократно писали западные гости — подборку: отсеивается халтура и дается прекрасное понятие о том, что в этих областях происходит в мире. Художники, правда, не могут жаловаться на чрезмерное благополучие. Но по крайней мере они не должны показывать свои рабо-

ты на тайных встречах в законспирированных подвальных ках. Искусство же прикладное совершенно открыто пользуется результатами современных художественных экспериментов. Прибавим тут польские газеты и журналы, которые можно во многом упрекать, но которые все-таки напоминают обыкновенные газеты и журналы. То же касается и телевидения, вполне справедливо разруганного, но все же не отличающегося принципиально от телевидения западных стран. В то же время, как известно, в СССР средства массовой информации продолжают оставаться — за редкими исключениями — рупором примитивной пропаганды. Польская культура, с давних времен расположенная на перекрестке разных влияний, умеет — пусть иногда поверхностно и снобистически — пользоваться этим преимуществом. Она открыта, восприимчива, гибка. К тому же, после разделов Польши, в условиях постоянной угрозы извне, когда огромную роль играл инстинкт самосохранения, польская культура приобрела глубоко национальный характер. Неудивительно, что в СССР с интересом и не без зависти ловят отголоски польской культурной жизни, думая — значит, можно и так? Поездка в Польшу становится тем же, чем для поляка является путешествие на Запад: возможностью учиться, размышлять и прийти к новым заключениям. Бывает, впрочем, что у советских гостей в Польше, так же, как и у поляков на Западе, голова начинает кружиться от внешних эффектов и кроме мишурного блеска и поверхностных деталей, не существующих в их стране, они не замечают ничего. Но разве можно сурово судить людей, увлеченных в Варшаве больше всего весьма пуританским стрип-тизом в ресторане «Конгрессова», если немалое количество поляков, очутившись в Париже, начинает с дрожью возбуждения и пустыми карманами блуждать вокруг лупанаров и сверкающих голым телом витрин площади Пигаль. Каждому то, что ему по душе. Стоит сказать, что советские гости, охладев после первого знакомства с не так уж богатыми варшавско-краковскими развлечениями и потехами, как правило, умеют взглянуть глубже.

Существует в Советском Союзе и своего рода мода на Польшу, иногда поверхностная, иногда более глубокая. Ценятся изделия польской промышленности, читаются польские журналы. Изучается даже польский язык, дающий возможность выйти в широкий мир. В этом большой

шанс польской культуры. Захочет ли она этим шансом воспользоваться — не ограничиваясь вывозом молодежной музыки и эстрадных ансамблей (что тоже имеет свое значение), — другое дело. Вопрос также и в том, сможет ли она это сделать, принимая во внимание ограничения со стороны советских властей. Надо сказать, что эти меры предосторожности не беспочвенны. Характер польской культуры связан в уме жителя СССР с чертами польского национального характера вообще, а то, что в этом характере — несколько идеализированном — внушает им наибольшее уважение — это элемент некоторой внутренней гордости, чувство собственного достоинства, элегантность и широта жеста. Наши соседи смотрят на Польшу и думают о себе. В этом залог подлинности их интереса.

IV

Мы знаем, следовательно, что мы нужны друг другу, несмотря на то, что четкое понимание этой необходимости еще не овладело сознанием обоих народов, особенно польского. Мы знаем также, а во всяком случае, чувствуем ежедневно, что подлинное содержание наших взаимосвязей складывается с трудом, преодолевая многие препятствия, такие как исторические предубеждения, недоверие на уровне властей, бюрократическое священнодействие официальных ритуалов, лишенных какого-либо значения, а значит — лицемерных и нудных. Считаясь с реальными условиями, мы не можем требовать многого. Можно, тем не менее, создавать определенные настроения в общественном мнении обеих стран и осознавать действительные возможности. Эти возможности значительно в Польше, где без риска можно было бы проявлять большую инициативу, до сих пор практически несуществующую. Прекрасно известно, что приглашение в Польшу Солженицына или Бродского было бы пустым жестом без всяких последствий. Это не значит, однако, что принятый в настоящее время обычай присылать из СССР в Польшу тех, кто не был приглашен, должен длиться вечно. Надо иметь смелость энергично протестовать против такого рода действий. Также и визиты в СССР польских деятелей должны охватывать более широкие круги людей, умеющих

с одной стороны, представить истинные ценности польской культуры, а с другой извлечь пользу из такой поездки. Возможность публикации польского журнала, посвященного советской культуре, была ликвидирована в зародыше, одновременно с закрытием, — после издания двух первых номеров, — журнала «Опиние» («Мнения»). Материалы, поставляемые советскими журналами на польском языке вроде «Литературы Радецкой» или «Края Рад», подчинены требованиям официальной пропаганды и беззастенчивой лакировки. Образ действительности в этих журналах старательно и сознательно фальсифицируется. Таким образом, по крайней мере новый журнал, посвященный мировой литературе — если он, наконец, увидит свет, — должен действовать смело на этом поприще. Минимум смелости с польской стороны — это более, чем скромное пожелание. Но во времена Гомулки всякая инициатива была предоставлена советской бюрократии и дело культурных отношений передано в руки таких учреждений, как Дом Советской Культуры или — неофициально, но практически — Обществу Польско-Советской Дружбы. Услужливая уступчивость в те дни перешла все границы порядочности и благоразумия. Поэтому каждый шаг, сделанный сегодня по собственному почину, будет шагом вперед.

Отдельный и весьма важный вопрос — это расширение контактов с нерусскими культурами СССР, до сих пор отрывочных и чисто официальных. Польша является для этих культур очень желательным партнером, и сама может извлечь много пользы из сношений с ними. Главное, не полагаться на посредничество Большого Брата, не довольствоваться всякого рода бюрократическими юбилеями, а искать ежедневной связи с живыми творческими силами в советских республиках, где увлечение Польшей, как примером духовной независимости, огромно. Им надо воспользоваться.

У советских друзей Польши и ее культуры значительно меньше возможностей инициативы. Они принуждены видеть Польшу вдвойне деформированной — сначала чиновниками польскими, а затем — советскими. Система взаимных консультаций и непрерывного согласования, что для соседа «желательно» и что «предписывается», цветет на всех уровнях бюрократической машины, в ущерб общему делу. В таких условиях советским друзьям остается сохранять трезвость оценки и критицизм суждений, и черпать

из источников, избегая официальных посредников. Пока будет достаточно, если наше духовное сближение начнется с растущего взаимопонимания и знакомства с подлинными ценностями обеих культур. При этом следует отбрасывать официальные попытки устанавливать иерархию взаимных ценностей. Одним словом, советский читатель должен осознать, — приводя конкретные примеры, — что современная польская литература не существует без Милоша или Мрожека, так же, как поляк не сможет составить себе образ советской литературы без Солженицына или Бродского.

Это программа-минимум, возможная в наших условиях. Программа эта предполагает постоянные усилия всех людей доброй воли по обеим сторонам границы, усилия во имя правильно понятых интересов обоих партнеров, вопреки нажиму систем и обстоятельств. Может быть, будущее принесет нам или нашим потомкам большие возможности открытого и организованного действия. Каким бы, однако, это будущее не было, ничто не может нас освободить от труда сегодняшнего дня. Неизвестно, кто и когда пожнет его плоды, но можно быть уверенным, что они не пропадут даром.

Тезисы о надежде и безнадёжности

Изложим кратко главные аргументы, используемые обыкновенно в качестве доказательства тезиса о «нереформируемости» коммунистического общественного строя в его нынешнем виде. Этот тезис гласит, что главная общественная функция этого строя состоит в том, чтобы сохранить за правящим аппаратом монополистическую и неконтролируемую власть. Все проведенные или возможные правовые и фактические изменения не нарушают этого основного принципа, которому подчинены все политические и экономические действия правителей. Монополия деспотической власти не может быть устранена частично (что похоже на тавтологию, поскольку монополия не может быть «частичной» в силу дефиниции самого термина). Дело в том, что все происшедшие или вообразимые в рамках системы изменения несущественны и легко отменимы, ибо они не могут приобрести характера правового института, не повлекши за собой разложения всего механизма. Удовлетворение основных надежд как рабочего класса, так и интеллигенции, невозможно в границах, определенных главной функцией системы. Мы имеем дело с организмом совершенно неэластичным, лишенным саморегулирующих устройств, способным к переменам лишь перед лицом внезапных катастроф. Такие катастрофы случаются время от времени, но, кроме незначительных уступок и перетасовок в правящих кликах, не оставляют никаких царапин на физиологии целого. Сталинизм, в точном смысле слова, то есть кровавая и безжалостная единоличная тирания, был наиболее совершенным воплощением практических прин-

ципов системы. Позднейшие перемены, в особенности значительное смягчение террористической формы правления, хотя и существенные с точки зрения безопасности личности, ни в чем не изменили деспотической сущности системы и не ограничили своеобразно социалистических форм притеснения и эксплуатации. Поскольку основные функции этой общественной системы направлены против общества, которое, со своей стороны, лишено каких-либо правовых форм самозащиты, постольку единственно вообразимая перемена должна носить характер насильственного переворота. Более того, такой переворот возможен лишь в масштабе всей мировой социалистической системы, так как, в соответствии с известными всем событиями, советское военное превосходство будет всегда использоваться для подавления всех местных революционных попыток. Следствием такого переворота было бы — как надеются некоторые — социалистическое общество, понятое в смысле марксистской традиции (то-есть, общественное управление процессами производства и распределения на основе представительной системы). Для других результатом переворота должен быть переход к западноевропейской модели капитализма, которая ввиду экономического и идейного банкротства социализма осталась единственным достойным доверия путем развития.

А вот важнейшие особенности советской модели социализма, которые — согласно этой аргументировке — обрекают на поражение все надежды на частичное, постепенное или путем очередных реформ происходящее «очеловечивание» этой модели (речь идет о «структурных особенностях, которые можно обнаружить во всех странах, построенных по советскому образцу»).

1. То, что обыкновенно называется «демократизацией» системы правления невообразимо внутри этой системы, ибо политический деспотизм и монополия правящего аппарата в сфере использования средств производства, капиталовложений, рабочей силы и распределения национального дохода взаимно обуславливаются. Политическая монополия правящей олигархии опирается на ее позицию единственного работодателя и единственного управляющего средствами производства. Поэтому каждый, пусть даже не решающий, но действительный шаг в сторону политической демократии означает *ч а с т и ч н у ю* *э к с*

п р о п р и а ц и ю правящего класса, который, не владея юридически средствами производства, имеет все права и привилегии коллективного собственника. В этом фундаментальном вопросе все отступления от правила не более, чем видимость. Без ущерба можно разрешить рабочим дискутировать о положении на их предприятиях. Можно позволить назначенным партийным аппаратом комиссиям сейма обсуждать детали экономической политики. Так или иначе, все решения принимаются одними и теми же органами, не подчиненными никакому общественному контролю. Возможные в ходе дискуссий отклонения от пожеланий этих органов несущественны, ибо тщательный надзор над средствами информации не позволяет им принять форму общественного нажима. Следовательно, поскольку все предлагаемые экономистами попытки реформ направлены, по существу, на ослабление монополии хозяйственных решений правящего аппарата и грозят его частичной экспроприацией, постольку они лишены шансов на успех.

2. Естественной тенденцией системы является беспреывное ограничение роли экспертов, в особенности в экономической, социальной и культурной политике. Правящий аппарат относится к экспертам терпимо лишь в том случае, если они не претендуют на право принимать самостоятельные решения. Но даже в качестве советников, как учит опыт, эксперты не пользуются доверием и, по мере возможности, ликвидируются или замещаются мнимыми органами, специально подбираемыми по принципу политической угодливости. Признать экспертам какую-либо подлинно значительную роль в принятии решений значило бы одновременно ограничить сферу власти правящего класса. Поэтому бездарность, расточение общественной энергии и материальных средств, власть некомпетентных как бы встроены в механизм управления. Их нельзя считать изъянами, которые могут быть исправлены в будущем. Этот механизм не допускает, чтобы критерии чисто «технические», не подчиненные задаче сохранения и укрепления существующей власти, влияли на его работу.

3. Свобода информации — обязательное условие правильного функционирования как экономики, так и просвещения и культуры — невообразима без разрушения всей системы власти. В условиях свободного движения информации эта система обречена на очень быструю гибель. Более того, неосуществим также проект закрытой информа-

ции, доступной правителям в порциях, соответствующих иерархии власти. Иными словами, даже правители, хотя бы они обольщали себя и активно помогали неискаженной информации, будут неизбежно дезинформироваться и время от времени становиться жертвами собственной лжи. Прошли, правда, времена, когда Сталин выправлял недостатки розовые статистические данные, убивая статистиков, а сведения о колхозах черпал из фильмов о «колхозной жизни». Но устранение карикатурной дезинформации не меняет того факта, что дезинформация самих правителей также встроена в механизм. Это вытекает, по меньшей мере, из двух обстоятельств. Во-первых, закрытую информацию поставляют чаще всего те, кто на низшем уровне правящего аппарата несут ответственность за действия, являющиеся предметом информации. В этих условиях не удивительно, а совершенно нормально, что неблагоприятная информация становится как бы доносом на самого себя, а этого трудно ожидать от людей. Нормально и то, что желаемые сведения приносят награду, а неблагоприятные — наказание. Эта система распространяется, конечно, естественным образом на все категории информаторов. Примеры наказания за принесение плохих сведений бесчисленны и всем известны. Во-вторых, получение информации об общественной жизни, неограниченное ничем, кроме стремления установить фактическое положение вещей, требовало бы создания большого аппарата, обладающего политической независимостью и полной свободой сбора, хотя и не передачи информации. Такой аппарат не только был бы неестественной диковиной в системе, он превратился бы в источник политической опасности, как орган, в основе своей свободный от «идеологических» ограничений и лакейских обязанностей. Кроме того, значительная масса собранной таким образом информации неизбежно усиливает внутреннее напряжение и конфликты на высшем уровне использующего ее аппарата.

Невинной информации почти не бывает, а неискаженные сведения о жизни общества тотчас становятся оружием в руках всех конкурирующих группировок и клик, претендующих на высокие посты, против тех, кто эти посты в данный момент занимает. Хотя всеобщее правило самообольщения и самообмана на первый взгляд кажется следствием глупости, на самом деле это один из механизмов самозащиты системы. Правда, правящие группы иногда рас-

плачиваются за собственную ложь, в целом, однако, такие траты окупаются, укрепляя прочность и безопасность власти (тем более, что большую часть трат несет общество).

4. Следующая особенность социализма в его современной, советской версии — это неизбежная умственная и моральная деградация аппарата, принимающего важнейшие для общественной жизни решения. Это тоже результат действия политического аппарата, а не доброй или злой воли правителей. Механизм этот предполагает строго одностороннюю зависимость внутри иерархии, вытекающую из принципа монополии власти. Таким образом, как во всех деспотических системах, положительными качествами (то есть, чертами, облегчающими восхождение по ступеням иерархической лестницы) становятся угодничество, трусость, отсутствие инициативы, послушание перед начальством, готовность к доносам, равнодушие к общественному мнению и к общественным интересам. Отрицательные же черты — это, наоборот, способность к инициативе, забота об общих интересах, приверженность к критериям правды, эффективности и общественной пользы, невзирая на интересы аппарата. Тем самым, механизм власти приводит к естественному негативному отбору руководящих кадров во всех сферах правящего аппарата, а в особенности в аппарате партийном. 14 лет правления Гомулки в Польше — ярчайшее доказательство этой истины. Характернейшей чертой этого периода было систематическое устранение компетентных и наделенных инициативой людей и замена их трусливыми и услужливыми посредственностями. Процесс, шедший с марта 1968 — массовое выдвижение невежд, доносчиков или просто негодяев («нашествие клопов», как это называлось в Варшаве) — был лишь ускорением и интенсификацией явлений, известных в течение многих лет. Как всегда, можно и здесь привести исключения, но они весьма немногочисленны. Во времена кризисов можно иногда наблюдать обратные процессы, они не меняют, однако, основной тенденции системы, для которой компетенция и способность к инициативе — враждебные явления. Разные составные части руководящего устройства подвергаются контрробору в неравной степени, так что во многих областях хозяйственной и промышленной администрации можно всегда найти значительное число компетентных и смелых людей, упорно разбивающих себе головы о стену равнодушия, страха и бездарности, ко-

торую возводит вокруг себя партийный аппарат. Меньше всего таких людей можно встретить в самом партийном аппарате и его политических и пропагандных ответственных, где принцип отбора худших одерживает самые блестящие победы.

5. Деспотические формы правления по необходимости рождают потребность в постоянной, а по меньшей мере, периодически повторяемой агрессии. О том, что война, это гроб демократии, известно испокон веков. По этой причине она — союзник тирании. Когда нет войны внешней, ее функции исполняют разные формы агрессии внутренней. Их цель — безостановочно поддерживать состояние опасности и психоз осажденного города, хотя бы с помощью самых искусственных средств и воображаемых врагов. Возобновляемые акты грубой агрессии против очередных групп населения, выбираемых на основе самых различных критериев, являются отнюдь не следствием безумия, а врожденной функцией механизма власти, который не может обойтись без смертельных врагов, высматривающих его малейшую слабость. Только таким образом этот механизм может обеспечить себе желательную готовность к мобилизации. Он сам изобретает себе врагов, потому что возобновляющиеся акты агрессии неизбежно вызывают враждебность и сопротивление преследуемых и приводят к ситуации, которая должна была быть претекстом для репрессий. Система репрессий, следовательно, обладает самодвижущей силой, а один акт внутренней агрессии создает потребность в следующих.

6. Этот же принцип монополистической власти вызывает необходимость в постоянной работе по разложению общественности и дроблению всех форм общественной жизни, не декретированных правящим аппаратом. Поскольку социальные конфликты не устраняются, а подавляются с помощью репрессий и затаиваются посредством идеологической фразеологии, они пытаются прорваться наружу самыми различными способами. Тем самым, невиннейшие формы общественной организации, выскользнув из-под строгого полицейского надзора, могут действительно превратиться в очаги оппозиции. Отсюда стремление к «огосударствлению» всех форм общественной жизни, отсюда непрерывный нажим, направленный на уничтожение всех спонтанных общественных связей и организацию принудительных псевдосвязей, имеющих только негатив-

ные и разрушительные функции, не представляющих ничьих интересов, кроме интересов правящего класса. Ибо хотя система и нуждается во врагах, она смертельно боится какой-либо организованной оппозиции; она хочет иметь лишь таких врагов, которых сама выбирает, и хочет бороться с ними в избранных собой условиях. Естественная потребность деспотизма — это запугивание личности, в условиях лишения ее средств организованного сопротивления. В качестве одного из инструментов используется, в частности, уголовное законодательство, составленное умышленно так туманно и многозначительно, чтобы по возможности наибольшее число граждан чувствовало себя преступниками и чтобы шкала актуальных репрессий не была связана точными правовыми определениями, а подчинялась произвольным манипуляциям и произвольным решениям полиции и партии.

7. Правящий аппарат отнюдь не свободен в вопросе предоставления прав гражданам. Он не может, под угрозой гибели, расширять эти права, даже если бы такова была тенденция правителей. Ибо опыт учит, что уступки каким-либо демократическим требованиям не дают успокоения, а, наоборот, частичные завоевания используются для усиленного натиска, растущего как лавина и стремящегося разрушить весь политический порядок. Порабощение общественности так велико, а сознание притеснения и эксплуатации так сильно, что малейшая щель в системе декретированного насилия или же малейшие реформы, обещающие смягчение этой системы, тотчас же возбуждают громадные запасы скрытой враждебности и затаенных требований. Это угрожает взрывом, с которым невозможно совладать. Трудно поэтому удивляться, что после многих опытов даже филантропия правителей (принимая, что она вообще возможна), не может повлиять на смягчение политического и экономического рабства трудящегося общества.

Вот важнейшие аргументы в пользу тезиса — соответствующего, впрочем, духу марксистской традиции, — что присущая социализму форма порабощения не может быть устранена частично или ограничена постепенными реформами, а должна быть сразу же и полностью уничтожена.

Мне кажется, что этот тезис неверен, а его защита выражает скорее пораженческую идеологию, не имея ничего общего с революционным призывом. Я опираюсь при этом

на четырех предпосылках. Во-первых, мы никогда не можем заранее определить границы эластичности какой-либо общественной организации, а полученный до сих пор опыт вовсе не доказывает безусловной жесткости деспотической модели социализма. Во-вторых, жесткость системы о т ч а с т и зависит от того, в какой мере живущие в ней люди у б е ж д е н ы в е е ж е с т к о с т и. В-третьих, вышеприведенный тезис опирается на идеологии «все или ничего», характерной для людей, сформировавшихся в марксистской традиции, но никак не поддержанной имеющимся историческим опытом. В-четвертых, бюрократический социалистический деспотизм запутался в противоречивых внутренних тенденциях, которых он не в состоянии синтезировать, а которые неумолимо ослабляют его монолитность, причем эти противоречия растут, а не уменьшаются.

Все перечисленные выше механизмы, существование которых как-будто подтверждает мысль о непригодности социалистического деспотизма к реформам, действуют в этой системе на самом деле. Их неоднократно описывали, они могут наблюдаться всеми обитателями зоны рубля. Механизмы эти раскрывают естественное стремление системы, основные формы действия которой обращены против трудового общества. Наблюдения ведут к выводу, что если механизм бюрократической власти функционирует безо всякого сопротивления со стороны общества, то он неизбежно и все более интенсивно будет производить все описанные выше явления, приближаясь к чисто орвелловской модели. Из наблюдений нельзя, однако, заключить, что эти тенденции не могут найти противовеса в движении сопротивления, которое в состоянии ограничивать и ослаблять их действие, ведя отнюдь не к идеальному обществу, а к форме жизнеспособной социалистической организации, дающей возможность жить своим участникам. Реформистская позиция была бы абсурдом, если бы она сводилась к ожиданию доброй воли класса эксплуататоров, филантропии аппарата насилия или автоматического действия механизмов организации. Она перестает быть абсурдной, если ее понимать как идею активного сопротивления, использующего врожденные противоречия системы. Все описанные особенности бюрократического социализма однозначно доказывают, что ему присущи тенденции к

разложению и деморализации общества, к упрочению экономической слабости и увековечению всех тех социальных черт, которые известны каждому и которые превращают в мучение жизнь трудящихся. Но в очень общих чертах так же дело обстояло и с капиталистической экономикой, когда ее анализировал Маркс. Все естественные тенденции этой экономики, производственные и общественные, которые рассматривал Маркс, были не его произвольной выдумкой, а итогом тщательного изучения общества. Тогда были серьезные причины полагать, что в капитализм встроены неизбежно растущая классовая поляризация, абсолютное обнищание пролетариата, прогрессивное падение нормы прибыли, анархия и периодические кризисы перепроизводства, массовая безработица, исчезновение средних классов. Казалось, что все реформы, которые можно было себе в рамках этой системы представить, были обречены на недолговечность, ибо невозможно отменить в границах системы фундаментальных законов, вытекающих из «волчьего голода прибавочной стоимости», который определяет все производственные процессы. Следовательно, истинный смысл реформ лежит в их политическом значении, в тренировке и укреплении классовой солидарности пролетариата, необходимой в окончательной схватке. Маркс знал, конечно, обо всех противотенденциях, ослабляющих действие законов капиталистического накопления, среди которых важнейшей, но не единственной было сопротивление рабочего класса. Нельзя было, однако, количественно измерить силы этих тенденций и противотенденций в будущей эволюции строя. Поэтому, несмотря на обоснованность марксовского анализа, его убеждение, что «в конечном итоге» законы капитализма внутри этой системы всегда окажутся сильнее, чем сопротивление эксплуатируемых классов, было лишь выражением идеологической перспективы. В самом деле, предсказания о прогрессивной деградации и обнищании пролетариата, о растущей производственной анархии и кризисах не подтвердились. Но это отнюдь не было результатом филантропии буржуазии и ее моральной метаморфозы. Это было следствием долголетней борьбы и столкновений, вынудивших буржуазное общество признать некоторые принципы социальной организации своей прочной основой. Эксплуатация не прекратилась, но была в значительной мере ограничена, а имущие классы согласились отречься от части своих привилегий,

чтобы сохранить те, которые можно было сохранить без разрушения общества.

Несомненно, что такого рода аналогии не удовлетворяют полностью. Известно, что социалистическая бюрократия на ошибках и поражениях буржуазии научилась, насколько опасной бывает всякая свобода объединений и информации. Поэтому сопротивление против эксплуатации и притеснению в системе советского деспотизма проходит в худших, чем когда-либо общественных условиях. Ни один эксплуататорский класс в истории не располагал таким объемом власти. Но такая концентрация является источником не только силы, но и слабости, что доказывает вся послесталинская история коммунизма.

Действительно, характер системы требует полной концентрации власти в руководящем центре. Поэтому правильно утверждение, что власть Сталина (и его местных миниатюр) была совершеннейшим воплощением принципов деспотического социализма. Но возврат этой власти невозможен, ибо невозможно согласование двух элементов, одинаково важных для правящего аппарата: единства и безопасности. Конкурентная борьба внутри аппарата не может получить правового оформления, ибо это означало бы легализацию фракционной деятельности в партии, что лишь незначительно отличается от многопартийности. Спонтанно возникающие группы, клики, компании, объединяющиеся на разных основах и преследующие разные цели, являются, однако, неизбежным продуктом общественной жизни. Поэтому идеал — это абсолютная тирания одного самодержца, ограниченного умственно и морально настолько, чтобы ему не мешали никакие «абстрактные» принципы, но настолько хитрого, чтобы подавлять посредством резни и чисток всякую кристаллизацию групп в аппарате и тем самым удерживать инструменты правления в постоянной перетасовке и страхе. Но именно это резко противоречит нуждам безопасности этого же аппарата, который не хочет — что совершенно понятно — находиться в ситуации, в которой каждый его работник, включая секретарей ЦК и членов Политбюро, может в один миг по мановению своего шефа перенестись из своего кабинета в подвалы полиции. Поэтому переход от единовластия к олигархии, называемой «коллективным руководством», лежал в интересах правящей машины. Этот переход имеет

большое значение, несмотря на то, что притесненным может казаться безразличным, подписывает ли документы, приносящие им гнет, один или десять человек. Олигархия не означает, конечно, никакой «демократизации», хотя и означает заметное ограничение террористических форм правления. Кроме того, однако, означает она серьезное нарушение устойчивости власти и ее неминуемую децентрализацию (все еще не демократизацию), то-есть, упрочнение позиций и расширение полномочий местных аппаратов. Олигархия уже не в состоянии предотвратить скрытой фракционности и должна создавать конкурирующие органы, постоянно ослабляющие ее силу. Но с другой стороны, движение сопротивления наиболее правдоподобно и эффективно отнюдь не в условиях сильнейшего гнета и террора, а, наоборот, в моменты сравнительного ослабления нажима, вызванного расшатыванием правящего аппарата. Это верное наблюдение было сделано Лениным. Существующие в настоящее время аппараты неподатливы, правда, на идеологические сотрясения, как был податлив сталинский аппарат, потерявший равновесие после морального краха вождя. Но они деморализованы и хронически больны, их болезнь — это борьба соперничающих групп. Несмотря на то, что раскрытие существования этих групп противоречит их интересам, тайну в этой области никогда нельзя полностью сохранить, а уж совсем невозможно это сделать внутри политического механизма. Частичный паралич аппарата становится тем самым неизлечимым, переживая очередные рецидивы и ухудшения, поскольку его стабильность зависит от нескольких независимых параметров, общее действие которых трудно, конечно, предвидеть. В этом смысле можно сказать, что вынужденная силой вещей частичная «десталинизация» пустила в ход механизм деградации власти, который благоприятствует эффективности движения сопротивления. Иначе говоря, пока аппарат стабилен и иммунизирован к политическим сотрясениям, он, в общем, может не считаться с недовольством населения. Но он уже потерял эту стабильность, а за уменьшение страха перед вождем и собственной полицией платит постоянным страхом перед общественностью, перед конкурентами, перед местными или зарубежными руководителями, перед рабочим классом, перед интеллигенцией и даже перед многочисленными группами интеллектуалов.

Следующим неизбежным внутренним противоречием бюрократического социализма является конфликт между потребностью в радикальном изменении идеологии и неспособностью избавиться от сталинско-ленинской идеологии. В отличие от демократических политических организаций, которые могут обращаться к общественному мнению для обоснования своей легальности, деспотизм, лишенный представительных механизмов, неминуемо должен иметь нечто вроде идеологической «системы», пусть самой скверной, для того, чтобы получить мнимое правовое оправдание своего существования. Ни одна страна, ни одна система власти не может обойтись без такого оправдания — будь оно унаследованной королевской харизмой или свободными выборами. При отсутствии этих обеих возможностей оправдание имеет идеологический характер; утверждается, что правящая партия является воплощением интересов рабочего класса и всего народа, а также, что государство — это часть великого мирового движения рабочего класса, который укрепил свое положение в некоторых странах мира, ожидая дальнейших завоеваний. Как известно, функция идеологии в этой системе власти отличается от функции идеологии в демократических системах, независимо от того, насколько жалко выглядят ее принципы в столкновении с действительностью. В настоящий момент в социалистическом мире идеология для аппарата — это тяжелый горб, от которого, однако, он никак не может избавиться. Интернациональная фразеология необходима советским правителям, ибо лишь она оправдывает их внешнее господство. Эта фразеология необходима зависящим от советского центра местным властям, оправдывая как их зависимость, так и их собственную власть. Могло бы казаться, например, что советские руководители могут совершенно пренебрегать неправящими коммунистическими партиями, которых они вовсе не хотят толкать к действительной борьбе за власть. Можно подумать также, что возможные расколы в этих партиях или их отступничество не имеют политического значения. В действительности это не так, ибо полный и явный отказ от коммунистического движения в странах, не подлежащих советскому контролю, мог бы осуществиться только ценой отказа от принципов, оправдывающих именно этот контроль. Поэтому правители становятся жертвами собственной идеологии вместе со всем ее бессмыслием. Парадок-

сально, что эта идеология, в которую все, по сути дела, перестали верить — и приказывающие ее гласить, и зарабатывающие на ней, и обязанные ее выслушивать, — продолжает сохранять огромное значение для существования политической системы. Это мертвое и уже гротескное порождение, называемое марксизмом-ленинизмом, все еще висит на шее правителей, как неизлечимая раковая опухоль, сковывающая свободу движений. В странах советского блока эта идеология потеряла всякую убеждающую силу, что хорошо знают правители. Поэтому пропаганда, рассчитанная на получение какого-либо отклика у населения, и даже в самой партии, все меньше апеллирует к идеологии, и концентрируется почти полностью на идеях государственной пользы и национальных интересов. Но именно это обстоятельство порождает в системе новое противоречие. Как известно, кроме пропаганды гласной, существует в этих странах пропаганда негласная, которая иногда даже важнее первой. Речь идет об определенных идеях или принципах, которых нельзя формулировать непосредственно в речах и печати, но которые нужно, тем не менее, передать населению. Имперская идеология, в отличие от чиновничьего марксизма-ленинизма, может рассчитывать на некоторый подлинный успех. В СССР это идея великодержавности, прославление великой империи, более или менее прямым образом господствующей над огромными территориями земного шара. Но в странах народной демократии эта невысказываемая идеология сводится к страху перед советскими танками, и распространяется с помощью разного рода намеков. И в этом случае негласная идеология, в отличие от идеологии гласной, может рассчитывать на определенный успех в обществе. Чтобы убедить людей в том, что русские вожди могут кроваво расправиться с каждым недостаточно послушным протекторатом, не требуются особенно тонкие аргументы. В какой-то степени обе негласные идеологии — центральная и периферийная — совпадают в своих последствиях, но считать это совпадение твердой основой правления было бы политикой весьма близорукой. И не только потому, что в обоих случаях негласная идеология не дополняет, а резко противоречит идеологии официальной, но и потому, что негласная идеология может достичь желательных результатов — временной пацификации — только ценой сохранения и разжигания взаимной национальной вражды.

что кажется выгодным в мирное время, но чрезвычайно опасно в моменты кризисов. А другого выхода нет, если правящий аппарат хочет сохранить хотя бы тень контакта с общественностью.

Среди исторических шуточек Сталина сохранилось знаменитое изречение «А сколько дивизий у Римского Папы?» Нищета этого вопроса ясно обнаруживает нищету политической системы, которая растеряла все, кроме дивизий (надо, правда, согласиться, что это немало), не умеет ни во что, кроме дивизий, верить, и гордится этим, как идеологий здорового реализма, забывая, что сама она возникла благодаря февральской и октябрьской революциям, победившим отнюдь не дивизиями, а в силу морального разложения царской империи и армии.

Идеологический паралич бюрократического социализма распространяется все дальше и уже неотвратим. Очередные кампании и совещания партийных органов, посвященные идеологической борьбе, могут выработать новые средства репрессий и запугивания, но не в состоянии дать общественности ничего кроме тех же самых тошнотворных лозунгов. Все попытки предотвратить этот паралич идут в двух направлениях — фразеологии националистической или фразеологии порядка и производительности. Вокруг этих лозунгов сосредотачиваются разрозненные фракции. Ценность, однако, первой фразеологии ничтожна, поскольку центральный и фундаментальный вопрос — вопрос действительной суверенности народа — как правило, остается для нее непреодолимым препятствием. Второй тип фразеологии мог бы быть эффективным в случае представления выполнимой программы, опирающейся на «технократические» основы. Но «технократическая» программа означает примат критериев производительности и технологического прогресса перед политическими факторами. А значит, ее осуществление возможно лишь ценой постепенного отказа правящего аппарата от очередных сфер власти, то-есть, ценой постепенной экспроприации господствующего класса. Мы касаемся здесь еще одного внутреннего противоречия системы власти: многократно сигнализируемого противоречия между технологическим и производственным прогрессом и непрерывно его тормозящей системой политической власти. Это противоречие подпадает под классические определения Маркса, относящиеся к капиталистическому производству. Но оно

никогда не проявлялось столь сильно, как в системе, созданной главным образом для устранения этого противоречия. Все перечисленные особенности социалистического деспотизма по очевидным причинам являются сильнейшими тормозами технологического и производственного прогресса и упрочивают застой строя. Но технологическое развитие (не ограниченное лишь военной техникой) и даже рост потребления (вопреки некоторым политическим выгодам, которые обеспечивает всеобщая бедность населения и недостаток элементарных благ), по разным причинам в интересах правящего класса. Чем выше общий уровень развития, тем труднее достичь хороших результатов в одной лишь, т. е. военной области производства, рассматриваемой в отрыве от всех остальных; надежды населения зависят в значительной мере от сопоставления собственного положения с положением в высоко развитых странах, чего нельзя избежать, так как ввиду различных обстоятельств уже невозможно полностью предотвратить доступ информации. Поэтому при застое и даже незначительном улучшении потребления уровень субъективного неудовлетворения и недовольства может расти, и нельзя предугадать, когда он, в сочетании с иными обстоятельствами, переступит порог взрыва. В общем, уже невозможно избежать, даже если она невыгодна, ситуации международного соревнования, и условия этого соревнования становятся все более трудными. И когда правители заявляют о своем стремлении к техническому прогрессу и улучшению материального положения населения, это, обыкновенно, соответствует их действительным намерениям. Эти намерения, однако, противоречат другой группе намерений, относящихся к увековечению своей монополии на неконтролируемую власть во всех областях общественной жизни.

То, что это противоречие неустранимо, не означает, как ожидал Исаак Дейтчер, что социалистическая система будет автоматически «демократизироваться» под напором технического прогресса. Противоречие между технологическим прогрессом и системой руководства политикой и управления экономикой может быть источником развития только тогда, когда оно выражено в форме социального конфликта: конфликта между всеми слоями, заинтересованными в сохранении существующего механизма эксплуатации и рабочим классом и интеллигенцией, прежде все-

го — но не только — интеллигенцией технической и ме-наджерской.

Все эти противоречия усиливаются дополнительным противоречием, вытекающим из национального положения стран, зависящих от советской империи. Правящий аппарат заинтересован в сохранении этой зависимости, как залога собственной позиции, но одновременно заинтересован в ее ослаблении, стремясь к расширению свободы своих решений. Эта ситуация порождает неизбежные напряжения в политической машине и создает точку, в которой общественный нажим может оказаться эффективным. Национальный суверенитет — это недостаточное условие социального освобождения трудового населения, но, конечно, это его необходимое условие. Страх перед братским дулом с востока, не лишен, конечно, оснований, но он умышленно преувеличивается, как патриотический способ подавления самых скромных требований и средство убеждения народа в полной безнадежности его усилий. В действительности цель Польши или других народов советской зоны состоит не в провокации вооруженного конфликта, а в непрерывном нажиме с целью ослабления зависимости, которая может быть ослаблена только под нажимом. И в этом вопросе мышление по принципу «все или ничего» губительно и принятие этого принципа означает согласие на «ничего». Никто не может быть ослепленным до такой степени, чтобы не замечать разницы в национальном положении Польши и Литвы, или утверждать, что зависимость Польши не изменилась полностью между 1952 и 1957 годом. Зависимость и несuverенность, следовательно, поддается градации, а разница в степени зависимости играют необычайно важную роль для существования народа. Гуманитарной интеллигенции и вообще учительской интеллигенции принадлежат в этом вопросе ключевые функции.

Если польский народ устоял перед русификацией и германизацией в эпоху разделов, то этим он обязан, главным образом, именно этому общественному слою. Без него польский народ оказался бы в положении, например, лужицкого народа, который, несмотря на сохранение своего языка, не создает своей самобытной культуры и собственной интеллигенции и поэтому почти не имеет шансов сохраниться. Польша, как культурное целое, спаслась благодаря тем, кто основал Комиссию народного образования

и тем, кто продолжал ее дело, благодаря учителям, писателям, историкам, филологам, философам XIX-го века, которые в труднейших условиях работали над увеличением наследия национальной культуры. Чешский народ, находившийся уже на пороге культурной германизации, устоял благодаря аналогичному, сознательному усилию своей интеллигенции в XIX веке. Те, кто сегодня подавляют свободное развитие национальной культуры являются врагами Польши.



Я становлюсь на сторону «реформистской» идеи не потому, что считаю реформизм средством «легальным» в отличие от «нелегальных». Такое отличие невозможно, когда о легальности или нелегальности решает не закон, а произвольная интерпретация полицией и партийными властями туманных декретов. Там, где правители могут, захотев, арестовать и осудить граждан за одно лишь хранение неблагонадежной книги, за разговор в узком кругу на политические темы, за анекдоты и «неправильные» взгляды, выраженные в частном письме, там понятие легальности по отношению к политике лишено смысла. Наоборот, лучшее средство, противодействующее фактическому преследованию таких «преступлений» — это их массовость. Я говорю о реформистской ориентировке в смысле веры в возможность действенного, частичного и постепенного нажима в широкой перспективе, то-есть, в перспективе общественного и национального освобождения. Деспотический социализм не может считаться абсолютно неэластичной системой, ибо таких систем не существует. Его способность к некоторой эластичности проявилась в течение последних лет, хотя бы в такой фундаментальной области, как сфера решений, подлежащих ведению официальной идеологии. Радиус идеологического господства сократился весьма значительным образом: партийные чиновники уже не обязаны разбираться в медицине лучше профессоров медицины и в филологии лучше, чем филологи. В литературе, правда, они все еще понимают лучше писателей. Но в Польше даже здесь произошли некоторые необратимые перемены. Границы вмешательства официальной идеологии продолжают оставаться невыносимыми, но они все-таки в значительной мере сжались, по сравнению

с недавним временем, когда государственная доктрина определяла одновременно ширину брюк, цвет носков и законы генетики. Кто-нибудь скажет, что мы имеем дело с движением от рабовладельчества к феодализму. Мы не стоим, однако, перед выбором между полным гниением и полным совершенством, а просто перед выбором между согласием на гниение и беспрестанным усилием, направленным на воплощение в национальной жизни ценностей и стандартов, которые, утвердившись, не дают себя легко разрушить. Культурный погром в 1968 году привел ко всеобщему упадку духа, но это была неизбежная проба сил. Произошла она, правда, в условиях, выбранных и навязанных аппаратом насилия. Мы наблюдаем, однако, как рушатся во всем мире твердые ортодоксальные устои, отбрасывая правила, табу, святыни и верования, которые казались до недавнего времени необходимым условием их существования. Можно сказать, что аналогии с преобразованиями церкви беспредметны, поскольку у церквей нет ни полиции, ни тюрем. Но церкви сами потеряли средства принуждения благодаря нажиму культурных преобразований, а полиции систематически и испокон веков обольщают себя собственной всеисильностью и вводят других в заблуждение, ибо сила полиции держится лишь до тех пор, пока другие верят в ее всемогущество. Перед лицом сильного общественного нажима полиция оказывается в конце концов бессильной, а страх тех, кто живет запугиванием, становится больше страха преследуемых.

Бюрократический социализм утратил идейную базу. Несмотря на все уродливости сталинизма, сталинский аппарат, по крайней мере в странах народной демократии, зависел в своей деятельности от своей идейной связи с системой несравненно больше, чем современные аппараты. Может казаться, что цинический аппарат, члены которого измеряют достижения социализма своими привилегиями и карьерой более действенен, ибо лишен наследственных наслоений и колебаний, не восприимчив к идейным сотрясениям, но способен к произвольным и молниеносным переменам и лучше поддается манипуляциям. Но это меньше половины правды. Такой аппарат не только подводит в момент кризиса, не в состоянии устоять перед серьезным испытанием, не только более расположен к саморазложению из-за групповщины. Он является симптомом исторического отмирания системы, которой служит. Си-

стема, которой никто не защищает бескорыстно — обречена. Я цитирую эту фразу из книги Виктора Сержа о царской охране — фразу, в которую не поверит ни один полицейский, пока не потеряет свое место. Деспотический социализм отмирает медленной смертью, описанной Гегелем. Он кажется незыблемым, но погружается в тяжелую скуку и онемение, которые разнообразит лишь страх всех перед всеми, страх, разряжающийся в агрессиях. Потеря идей равняется для этой системы потере смысла существования. Обратим внимание на мелкие перемены: Сталин безостановочно болтал о «свободе», когда пытки и резня царили в его империи. Сегодня, когда резни уже нет, один лишь звук слова «свобода», поднимает на ноги всю полицию. Все старомодные слова — «свобода», «независимость», «закон», «справедливость», «правда» — оборачиваются против бюрократической тирании. Все ценное и вечное в сегодняшней культуре народов-узников этой системы восстает против нее. Международное коммунистическое движение перестало существовать. Перестала существовать и идея коммунизма в советской версии.

В условиях свободы выбора значительное большинство польского рабочего класса и интеллигенции высказалось бы, вероятно всего, за социализм, так как высказывается за него ниже подписавшийся. За социализм, то-есть — за суверенный национальный организм, предполагающий общественный контроль над использованием и развитием средств производства и распределения национального дохода, а также над административно-политическим аппаратом, работающим в качестве органа общественности, а не в качестве хозяина, которому общественность дана «в помощь». За социализм, то-есть — за организм, предполагающий свободу информации и коммуникации, политический плюрализм и многообразие форм общественной собственности, уважение к критериям правды, эффективности и общественного интереса, свободу культуры, а также свободу от произвола политической полиции, а также уголовное законодательство, целью которого будет охрана общества перед антиобщественным поведением, а не превращение в преступников всех граждан для того, чтобы затем их всех шантажировать.

В какой степени возможно движение к такой общественной форме, зависит в значительной мере, хотя, конечно, не полностью, от того, в какой степени обществен-

ность верит в возможность создания такой формы. То, чем есть какая-либо общественность частично зависит от того, чем она есть в собственном представлении. Поэтому в общественных преобразованиях нет чистой возможности, скрытой в вещественных отношениях и независимой от степени ее осознания. Отсюда те, кто могут положить начало надежде в странах социалистического деспотизма, одновременно положат начало движению, которое сделает эту надежду реальной — поскольку в знании общества о самом себе объект и субъект отчасти совпадают.

Убеждение в том, что современная форма социализма безусловно неэластична и может быть разрушена только однократным ударом, что все частичные перемены по сути дела не являются переменами в общественном смысле, это убеждение отлично оправдывает оппортунизм и просто-напросто свинство. Ибо если дело обстоит так, то никакие единичные или коллективные инициативы, имеющие целью противодействовать чудовищным проявлениям неосталинского бюрократизма, никакая борьба за упрочение в обществе уважения к правде, компетентности, добросовестности, справедливости и разуму не имеет значения. Коротко говоря, при таком убеждении каждое единичное свинство может искать себе оправдания, ибо может интерпретироваться как составная часть универсального свинства, которое «пока» неизбежно и не является делом индивидуумов, а следствием системы. Принцип неререформируемости может, тем самым, служить отпущением грехов, данным заранее всякой трусости, пассивности и сотрудничеству со злом. То обстоятельство, что большая часть польской интеллигенции позволила себя убедить в полной неэластичности позорной системы, в которой она живет, несомненно в значительной степени поносит вину за прискорбную пассивность этого слоя в момент драматического наступления польских рабочих в декабре 1970 года.

Худшая услуга, которую можно оказать делу польской независимости и демократии — это упрочение в обществе традиционных, националистических антирусских штампов. Русский народ, переживший страшнейшую геенну в современной истории, все еще используется в качестве инструмента имперской политики своих правителей. Но он сам — жертва этой политики больше, чем какой-либо другой народ. Несмотря на определенный риск, который вле-

чет за собой различие национализмов внутри «зоны влияния», эти национализмы, особенно перед лицом увядания действительной силы интернационалистической идеологии, являются необходимым инструментом, используемым, согласно самым традиционным методам, для удержания власти. В официальной доктрине «Дружба народов» обозначает произношение тостов о дружбе и визиты, под строжайшим полицейским надзором, ансамблей песни и пляски. Действительная дружба и понимание между народами, взаимное недоверие и вражда которых уходят корнями в историю, может укрепляться лишь посредством неконтролируемых контактов и обмена, а именно этого больше всего боятся правящие круги. Польский антирусский национализм вызывает в силу естественной реакции рост великорусского национализма и благоприятствует продлению рабства обоих народов. Обидно повторять эти истины, которые считались избитыми среди революционной демократии уже во времена Весны народов, но повторять их надо до тех пор, пока они не перестанут оставаться в силе. Те, кто вместо развития знания и понимания подлинной русской национальной культуры удовлетворяются упрочением антирусских штампов, помимо воли помогают власти, поработившей оба народа.

Несмотря на милитарную мощь советской империи и несмотря на вторжение в Чехословакию, центробежные тенденции внутри «блока» невозможно задержать, и националистическая коррозия будет все сильнее разъедать организм, лишенный идеологической основы. Ни один из народов не заинтересован в том, чтобы горючим для этого разложения была национальная ненависть, которая может завершиться лишь апокалиптической резней. Мы можем противодействовать этой ужасающей перспективе, возрождая традиционную и старомодную идею братства народов против угнетателей.



Подведем итог. Все описанные внутренние противоречия социалистического деспотизма всегда могут разрешиться в двух направлениях. Эта система, предоставленная собственной инерции, среди молчания и страха, всегда и неотвратимо будет идти к такому разрешению своих противо-

речий, которые увеличивают, а не смягчают гнет, затягивают, а не распускают петлю. Усиление полицейских методов правления не есть следствие усиленного сопротивления, а наоборот, следствие отсутствия сопротивления. Эластичность этой общественной формации — эластичность, границ которой мы не можем определить заранее, — будет проявляться в ее ресталинизации, если не окажется сил, способных протестовать. Она может проявляться в духе, согласном с нуждами общества, лишь под натиском этого общества. Это урок, который нам дает наш опыт. Те, кто думают, что платят за свое спокойствие лишь мелкими уступками, тоже убедятся, что цена этого спокойствия будет расти. Те, кто платят невинной угодливостью, завтра будут платить за тот же товар доносами. Те, кто свои ничтожные привилегии оплачивают всего только молчанием перед лицом свинства, на которое они обязаны реагировать, будут вынуждены за те же привилегии платить участием в свинстве. Моральная инфляция — естественный закон деспотизма, закон, по которому распределитель благ приказывает платить себе все дороже, если только нажим общности не принудит его к понижению цен.

Может быть, эта перспектива не наполняет весельем, но она не фантастична, в отличие от перспектив, которые ведут к надежде на чудо, на внешнюю помощь или же на автоматическое самоисправление скрежещущего механизма, предоставленного собственной инерции. Важно то, что средства нажима находятся под рукой, они в распоряжении почти каждого. Эти средства — просто извлечение практических выводов из простейших заповедей, запрещающих замалчивать свинства, кланяться до земли господам, вымаливать подачки за послушание и тому подобное. Наше собственное достоинство дает нам право произносить во весь голос старые слова «свобода», «справедливость» и «Польша».

Лешек КОЛАКОВСКИЙ

Поляки в романах Достоевского

Знаменитый русский критик Н. К. Михайловский называл Достоевского жестоким талантом. Это определение пристало к автору «Братьев Карамазовых», выделяя его самым метким образом из числа писателей тех времен.

Сравнивая Достоевского с другими писателями, которые отличались чувством жестокости, как, например, Дефо, Флобер, Конрад или Жеромский, мы должны отдать здесь пальму первенства Достоевскому. Ни один из великих художников слова, быть может, не сумел в равной степени передать горечь унижения, никто не уделил так много места мучительным переживаниям, связанным с чувством угнетения и позора.

Эта особенность его таланта проявляется ярче всего, в тех местах, где он вводит в действие поляков. Образы их и сама эта тема словно бы возбуждают его жестокость, доводя ее до исступления... почти в каждой картине, потрясающей читателя ужасом и стыдом, присутствуют поляки, которые исчезают сразу, как только действие романа смягчается.

Нигде в романах Достоевского поляки не выступают на первом плане. Это, как правило — второстепенные персонажи, которые появляются в моменты самого сильного сюжетного напряжения. Они как бы должны помочь читателю почувствовать всю горечь человеческого падения и унижения. В этих-то именно местах, поляки с их болезненным чувством самолюбия, апломбом, непременно попадают в скандальные ситуации и бывают уличены, как

мошенники и негодяи. Из их карманов, извлекаются меченые карты и краденые деньги, а затем их самих лакеи гонят в шею... это повторяется почти во всех основных романах Достоевского. Поляки всюду и неизменно изображаются, как мошенники и шулера, и всякий раз их публично разоблачают, подвергая позору и сраму.

Выставляя поляков павшими и низкими людьми, Достоевский сам — сразу же и весьма жестоко наказывает их, доводя до глубокой степени унижения. Читателю в этом плане он уже ничего не оставляет: он выводит поляков на сцену как будто только затем, чтобы тут же их казнить.

У польского читателя нередко создается впечатление, что такое отношение к полякам — пристрастное, искаженное неудержимым желанием унижить их — не соответствует олимпийскому взгляду на мир, который всегда отличает великих художников.

Дабы отдать себе отчет в главных элементах этого вопроса мы приведем несколько аргументов из прошедшей недавно дискуссии об убогих в творчестве Шекспира.

В своей истории литературы, написанной с точки зрения марксизма, Эптон Синклер придерживается мнения, что Шекспир буржуазный писатель, ибо он показал убогих смешными персонажами, к которым нельзя серьезно относиться. Для Синклера такое изображение убогих искажено классовыми предрассудками.

Суждение Синклера кажется недостаточно обоснованным. Великий английский трагик смотрит на убогих так же, как и на богатых; он разрешает и тем и другим — хорошим и плохим — вершить свои дела и идти к своей участи. Те, которых Фортуна отметила своим перстом достигаю у Шекспира трагического безумия величия. Растроптанные катятся вниз, становясь смешными. Великий драматург не нагибается, чтобы приподнять павших или исправить преступников. Пусть будут собою, говорит о них Просперо. Невозмутимое одобрение всего происходящего в мире, которое так восхищает у Шекспира, оправдывает его от обвинений предъявленных Синклером.

Судя с позиции сугубо пролетарской, Синклер отрицает художественную правду у Шекспира, считая ее искаженной классовыми предрассудками. От имени своих со-

отечественников, польский читатель отрицает художественную правду Достоевского, считая ее искаженной национальными предрассудками и нетерпимостью писателя. Есть ли в этом упреке больше оснований чем в упреке Синклера?

Чтобы более объективно обсудить этот вопрос мы должны учесть, что Достоевский никогда не был в Польше и не видел поляков живущих в помещичьих домах из лиственничного дерева, хозяйничающих в своих усадьбах, пьющих водку из собственных винокуренных заводов — короче говоря в их естественном виде, как их видел и описывал, например, в то же самое время, не менее скверно, но по другому Август Вильконский, «Хирург философии».

Насколько нам известно, Достоевский знал поляков и общался с ними только на каторге. Поляков трагических, обесчещенных, наказанных кнутом, которых гнали в цепях вместе с уголовниками, неизлечимо, навсегда уязвленных в их самолюбии. В «Записках из мертвого дома» Достоевский подметил вечно живое, никогда неутолимое чувство самолюбия своих сокааторжников-поляков. Их страдания, казалось, не смягчало ни время, ни сочувствие товарищей по несчастью, которых они чуждались, словно презирая их. Это одиночество их неутешимого страдания как-будто уподобляло их проклятым.

Почему-же тогда Достоевский из художественных соображений, которые мы видели у Шекспира, разрешая в своем воображении свободно и объективно свершиться судьбам человеческим, не мог бы перенести поляков со dna каторги, где он их видел, на человеческое дно, представленное в его романах?

Художественными соображениями можно бы было объяснить манеру изображения поляков Достоевским.

При более внимательном рассмотрении такое объяснение, однако, не выдерживает критики. Во-первых Достоевский далек от шекспировского одобрения мира, которое разрешает человеческим делам свершиться до конца. Он борющийся писатель. Борющийся за права всех павших, униженных, посрамленных, требующий полной реабилитации всех без исключений жителей Подполья. Если бы для достижения высшей справедливости потребовалось причинить зло одному только человеку, говорит Достоевский

устаи Ивана Карамазова, то такую справедливость невозможно бы было принять. Во сне Мармеладова, после Страшного суда будут спасены также люди со «звериным ликом». Исключений нет ни для кого! Лишенные каких-либо заслуг возродятся как Феникс из небытия.

А все-таки, Достоевский как будто бы делает одно исключение. Сам он этого до конца никогда не объяснил, но у читателя остается довольно ясное впечатление, что из общего спасения всех униженных — Мармеладова, генерала Иволгина, капитана Лебядкина — будет сделано о д н о исключение — касающееся именно поляков!

Возможно, что будут тоже исключены фальшивый французский граф де Грие из «Игрока», либеральный писатель Кармазинов из «Бесов» и некоторые другие. Но эти последние отступления немного другого рода. Де Грие и Кармазинов не нуждаются в такой-же реабилитации как Мармеладов. Отвергнутые Достоевским, они не падают духом. Де Грие вернется в свой Château во Франции, Кармазинов вернулся в свое заколдованное царство красивых и нежных идей.

Но другая судьба у несчастных скитальцев, пойманных с поличным, с мечеными картами в руках, гонимых в шею лакеями. Кажется, что для них нет другого выхода, кроме возрождения из пепла наподобие Феникса, которое ждет Раскольников в конце его пути. Вместе с их фальшивым гонимом, поляки находятся на самом дне осужденного Подполья, для жителей которого он требовал полной реабилитации.

А все-таки читатель знает, что поляки будут исключены, что для них одних не хватит места в лодке метафизического спасения, в которой успеют отплыть все остальные.

Эта особенность положения поляков в романах Достоевского указывает на то, что обстоятельства, связанные с ними весьма сложны, что отношение к ним автора нельзя объяснить одними только художественными взглядами.

В фантастическом мире Достоевского, поляки занимают место равное тому, какое в творчестве Ницше занимает последний, самый безобразный человек, вид которого смущает Заратустру и подсказывает ему мысли только такого рода:

«Мне говорят, что человек любит себя. Ах, как сильна должна быть эта любовь к самому себе! Сколько, все-же

вмещается в ней презрения к себе... Человек является тем, что надо преодолеть».

В изображении поляков Достоевским, угадывается определенная художественная правда, имеется некая мрачная симметрия — симметрия между положением поляков на каторге и в романах нашего автора; в занимаемом ими тут и там обособленном, своеобразном месте.

А все-же Достоевский, полностью не объясняет всего. Тайна поляков в его романах остается по существу неразгаданной.

Не проясняют вопроса также и политические теории и настроения автора. Эти последние известны нам в основном из «Дневника писателя», они гораздо менее видны в его романах. Слишком неопределенным и необоснованным является тезис, что Достоевский был исполнен ненависти ко всем иностранцам, в их числе и к полякам, и поэтому изобразил их в столь неприглядном виде. Среди них очень много положительных персонажей, как, например, мистер Астлей, доктор Шнейдер и другие. В том, что мы могли бы назвать враждебностью Достоевского к иностранцам, имеется некое отграничение возникшее из его нетерпимости моралиста, к которому мы вернемся позже.

Анализ личных переживаний Достоевского тоже не может нам помочь. Трагические столкновения между ним и поляками на каторге, предполагаемое польское происхождение Достоевского, которое якобы побуждало его к запальчивости неопита, скорее являются домыслом — без серьезных к тому оснований.

Возможные столкновения с поляками в Сибири на-верное бы оставили следы в «Записках из мертвого дома», где воспоминания Достоевского, связанные с его пребыванием на каторге, были еще весьма свежи. Его тогдашние отношения с поляками не были самыми лучшими; нам это известно как из польских источников так и из самих «Записок». Однако общий тон воспоминаний Достоевского таков, что у нас нет никаких оснований связывать его «каторжанский» опыт с последующими его рассуждениями на данную тему. Мотивы, которые побудили Достоевского к известному нам изображению поляков, принадлежат к позднему от каторги периоду, и даже — к позднему от окончательной редакции «Записок».

Предполагаемое польское происхождение Достоевского так же не дает ключа к решению задачи. Новые изучения

родословной автора «Бесов» как будто подтверждают факт, что семья Достоевского берет свое начало из несостоятельного волынского дворянства. Часть семьи приняв католичество осталась в Польше, где проживала до последних времен под фамилией Достоевских или Достоевских. Федору Достоевскому факты эти не были совсем незнакомы, о чем свидетельствует его разговор на каторге с Шимоном Токажевским, который упоминает об этом в своих воспоминаниях. Его заметка свидетельствует о раздражительном тоне, в котором велся спор, но не дает никакого основания предполагать, что Достоевский в том или в другом смысле придавал большое значение своему отдаленному польскому происхождению.

И так ни художественные, ни личные его соображения — отдельно или вместе взятые — так и не объясняют до конца и последовательно, почему же автор «Бесов» изобразил поляков в своих романах так одностороннее, жестоко и с такой ненавистью.

Ни один из тех простых ответов, которые сразу приходят на ум, не помогает нам... Их неудовлетворительность принуждает нас вникнуть поглубже в творчество Достоевского, как со стороны формы, так со стороны общего творческого вдохновения.

II

Русская критика давно уже обратила внимание на некоторую формальную особенность романов Достоевского, которая отличает его от других писателей его времени. Она доказала, что на основе романов Достоевского невозможно воспроизвести никакого достоверного образа ни жизни, ни русского общества, как это можно сделать на основе произведений Тургенева, Островского, Толстого, Чехова. Достоевский, впрочем, не ставил перед собою описательных задач, которые способствовали бы созданию такого образа. Его роман не притязает на реализм. Это, как тогда говорили, экспериментальный роман. Элемент конструкции берет здесь верх над элементом наблюдения.

Эти формальные особенности его творчества выделяют Достоевского из русской литературы того времени и приближают с одной стороны к конструктивным романам

эпохи романтизма, как, например, к Э.Т.А. Гофману и Эжену Сю, а с другой стороны — к постфутуристическим романам XX века. Между прочим, Достоевский, романы которого за последние 50 лет стали так распространены в западной Европе, оказал за последнее десятилетие значительное и может быть еще недостаточно осознанное влияние на литературные теории и писательскую практику самого младшего поколения в Германии и во Франции.

Эти замечания относятся к общему характеру романов Достоевского, и в особенности касаются героев. Их главные персонажи являются тоже конструкциями построенными по особенной, раздваивающейся схеме, придающей им характерную переменчивость, которая поддерживает читателя в нерешительности насчет их дальнейшего развития. Эта черта главных героев Достоевского была уже анализирована русской критикой.

Распознавание этого общего характера романов Достоевского и их главных героев, позволяет нам оценить более правильно положение поляков показанных нашим автором. Достоевский не намеревался, и, из-за отсутствия подходящего материала для наблюдения, не смог представить поляков такими, какими они на самом деле были или могли быть. Его поляки это всего лишь — схемы, всего лишь — своеобразные конструкции.

Но каков-же план этих конструкций?

Уже беглый взгляд сразу показывает нам некоторую разницу между главными героями Достоевского и его поляками. Этим первым автор углубляет и медленно нам открывает. Мы узнаем их с динамической стороны, которая все осложняется двойственностью их построения. Поляков-же он постоянно показывает в единовременном разрезе, неподвижном и неизменном — всегда одинаковым. В сравнении с основными персонажами романов, они являются как будто схематическим упрощением.

В какой-то мере, правда, поляки Достоевского тоже составлены из двух противоположных частей. Одна содержит в себе самолюбие и гонор, каплю формального патриотизма мистическую веру в свое достоинство, склонность к патетике. Вторая связана с шулерской ловкостью, показывает совершенное отсутствие честолюбия и каких-либо угрызений совести. Употребляя классическую терминологию — черты взятые от Юпитера и Весты противопоставлены чертам Меркурия. Эти две части, на первый

взгляд несовместимые в одном лице, соединенные вместе, как будто бы оправданы недостатком чувства действительности, самокритичности и способности вникнуть в восприимчивость других людей

Что означает, к чему стремится эта странная и искусственная конструкция?

В своей необычной книге «Искусство выдумывания персонажей» Жорж Польти, составляя двенадцать основных характеров, доказывает, что 369 простых и около 40.000 вторичных комбинаций никогда не были использованы ни в драматургической литературе, ни в романах. После некоего раздумия открытие Польти не удивляет. Создание характеров путем комбинирования простых черт, может дать, как и смешение химических элементов, совсем непредвиденные результаты: токсические, взрывные, мало пригодные как для драмы, так и для литературы, и вообще — для какого-либо употребления.

Сочетание простых черт, из которых созданы характеры поляков в романах Достоевского дает именно одно из таких последствий — отвращение, вызываемое у читателя. У такого великого творца, каким является Достоевский, результат этот, конечно-же отнюдь не случайный. Таким без сомнения было его намерение. В его романах, поляки должны представлять безобразную и отвратительную конструкцию. Но почему? Ответ будет заодно разъяснением всего интересующего нас вопроса.

Рассматривая поглубже характер поляков у Достоевского мы замечаем, что он по конструкции самой близок к Тартюфу и к группе ханж и фанфаронов. Общей чертой этой группы является двойственность их сущности.

Возвращаясь к конструкции Достоевского, мы видим, что те черты поляков, которые отличаются обилием гонора и излишней приподнятостью, относятся больше к внешней форме, к традиционным групповым шаблонам и привычкам, зато их отрицательные черты касаются скорее сути индивидуальных лиц.

Это замечание позволяет нам отличить еще одну существенную часть интересующего нас вопроса. В своем изображении поляков, Достоевский восстает как будто бы против шаблонной морали и поверхностных традиционных штампов.

Это предложение находит дополнительное подтверждение в том, что во многих случаях мы находим в ро-

манах Достоевского целые диатрибы против поверхностной, формальной нравственности, распространенной, по словам нашего автора, особенно в Западной Европе.

Почему, однако, такая весьма банальная мысль, обрела у Достоевского столь большое значение, почему он ее выражает в образах полных гнева и жестокости, и почему, наконец, ее инструментом являются именно поляки?

Ответ на этот вопрос надо искать в источниках вдохновения Достоевского-моралиста.

III

Говоря о Достоевском-моралисте, мы должны сделать одно общее замечание об этой особенности знаменитого русского писателя.

Как и современники Достоевского, так и все следующее поколение его читателей, не обнаружили, не оценили в нем свойств моралиста. В нем видели великий стихийный талант, воздействующий, в основном, на эмоции. И никто не намеревался считать его авторитетом в вопросах этики, никто не придавал значения тем моральным и философским обобщениям и выводам, к которым могли привести произведения Достоевского. Как и его политические выступления, так и протекающая извилистыми путями личная жизнь, отнюдь не поощряли современников к тому, чтобы считать его моралистом.

Впрочем, с точки зрения практической моральности, идеи Достоевского явно ведут на ложный путь и не могут быть исходной точкой для сколько-нибудь разумного образа действий. В Достоевском увидели моралиста только следующие поколения, оторванные от практических забот людей его времени и читающих романы с отдаленной уже перспективы.

Способствующим к этому обстоятельством, было в значительной мере, распространение философии Ф. Ницше, которая сблизила читателей с новыми моральными категориями, с той духовной драмой, которая происходит на абстрактной, пустынной высоте, где никто из простых смертных по собственной воле не пребывает.

Зато современный читатель Достоевского, уже не принимая на свой счет ни его отживших десятилетия назад по-

литических взглядов, ни знакомых уже только эрудитам личных антипатий, в состоянии полностью оценить роль, которую играют моральные идеи в его творческом вдохновении. Листая сегодня толстые томы романов Достоевского, написанных торопливо и неровно, полных отвлеченных споров, дышащих скрытой страстью с оттенком истерии, мы сразу замечаем, что не эстетическая забота является движущей писателем силой. Интенсивность отношений Достоевского к созданным им героям и его постоянный пафос вытекают из его моральных идей, являющихся главной частью его вдохновения.

В чем самая простая суть моральных идей Достоевского?

Ее трудно сформулировать. У самого Достоевского были справедливые поводы, чтобы избегать ясных высказываний. В своих авторских примечаниях он предусмотрительно избегает щекотливых мыслей, которые будучи перенесенными в романы, удивляют и беспокоят читателей. Достоевский передал нам свои моральные идеи скорее в форме жестов и некоторых суждений, более пригодных для описания, чем формулировки.

Моральные идеи Достоевского берут начало в великой проблеме униженных и угнетенных, обездоленных и исковерканных, отвергнутых от праздника жизни, ведущих жалкую и обесчещенную жизнь во мраке Подполья. Во всех своих произведениях Достоевский выступает как будто от их имени. Его творчество является их великой апологией. Она, однако, не касается их реабилитации в глазах более удачливой части человечества, и не ставит себе за цель помочь им стать на ноги. Их положение обстоит так, как вопрос стоящий перед конрадовским лордом Джимом: «Дело не в том как вылечиться, а в том как жить». Достоевского не интересует, как выйти из Подполья, избавиться от него, каким путем совершить счастливый переход от униженного и обесчещенного человечества к более светлому. Дело в том, как жить под столом, на котором празднуется пир жизни, как найти, словно навсегда и без надежды спасения, основания для этой двусмысленной жизни в Подполье.

Вопрос поставленный так, вызывает ряд сомнений. К каким выводам могут привести все эти принципы? К каким заключениям может привести одобрение таких принципов? Такого рода сомнения приводят Достоевско-

го в самое сильное возбуждение. Разве у отверженных нет достаточных оснований к тому, чтобы сделать вывод из объективно безнадежной обреченности?

Тут мы близко подходим к самой сути моральных идей Достоевского: к его борьбе за права отверженных, обездоленных и обесчещенных. Возникает вопрос, право на что? Право отрицать всякую концепцию, представляющую мир как гармоническую целость.

Характеризуя в самых общих чертах греческую и частично новую философию, мы бы могли сказать, что она пытается примирить нас с ничтожностью жизни, показывая нам гармонию космоса, красота которого состоит из теней нашего индивидуального бытия. Все попытки в этом направлении казались бы Достоевскому самообманом. В его понятии вечно молодая мощь жизни, мощь осязаемая, как зловещая сила, действующая вечно без исхода и надежды, победно противопоставляется всяким попыткам систематизации ее в нечто доступное разуму, и тем самым — приемлемое целое. Так понята мощь жизни находится на стороне проклятых и недостойных. Из нее вытекает право, которого добивался Достоевский — отбросить всякое утешение в философии, право быть призраком Банко на празднике жизни.

Из этих протестующих и бунтарских, а может быть и коварных принципов, возникает жестокость Достоевского. Лев Шестов, один из его самых лучших знатоков, которого Краков несколько месяцев тому назад имел честь принимать в своих стенах, правильно заметил, что в романах Достоевского гораздо больше ужасов чем действительно в жизни. Интенсивность жестоких эффектов у Достоевского является формой его протеста против утешения в философии и самым сильным требованием прав для униженных и недостойных. Словно пользуясь уже этими правами, Достоевский жестокостью своих слов и образов разгоняет участников праздника, сеет сомнение в умах усмирённых философией. В более отдаленной перспективе, его политические взгляды вытекают из таких же предпосылок.

Вникнув поглубже в выше описанные основные принципы Достоевского, мы немного лучше начинаем понимать весь его истерический тон, всю преувеличенность терзающих его чувств и мыслей. Сам здравый смысл ве-

лит уклониться от одобрения жизни в Подполье, отречься от всякой надежды. Все лучшие традиции склоняют нас к тому, чтобы уцепиться за самую ничтожную возможность утешения в философии. Повернуть нас назад с этого пути, по которому мы идем с древних времен, кажется делом таким же тщетным, как, скажем, повернуть назад реку в ее русло. Эту задачу взял на себя Достоевский. Свой громадный талант духовидца ужасов, он положил поперек дороги, намеченной рассудком и традициями. Его слова это пронзительный крик человека, который велит нам вернуться в Подполье и одобрить низость жизни без оговорок и обобщений.

Спустя 30 лет после смерти Достоевского, знаменитый итальянский писатель и философ, Джовани Папини, для другой цели и другим путем, предпринял подобную задачу реабилитации запущенной философией, по его словам, «другой половины мира» составленной из зла, неведения, бездействия, непригодности, бренности. Он частично приходит к близким Достоевскому выводам о том, что любовь к жизни вытекает в большинстве случаев из этой более мрачной половины мира. Однако его книга ведет к реабилитации преимущественной части того, что он называет «второй половиной мира», к ее примирению с более светлой половиной.

Но разве моральные идеи Достоевского тоже не содержат более ясных перспектив, похожих на те, какие открывает Папини своей «Filosofia mefistofelica»?

На самом деле, такие возможности заключены в понимании автора «Бесов». Казалось бы, что они должны уже вытекать из факта, что Достоевский был христианином. Отвергая философское утешение, он должен был принять религиозное утешение. Так поставленный вопрос мог бы немного упростить нам классификацию идей Достоевского: это было бы сочетание противопоставленных друг-другу элементов садизма и христианской мистики. Но дело не обстоит так просто. Возможность возрождения павших в романах Достоевского, напоминает христианские схемы, но не совсем с ними совпадает, имея некоторые особенные черты, о которых нам придется сказать несколько слов.

Реабилитация приниженных и обесчещенных у Достоевского не происходит рациональным путем, как примирение нас с «другой половиной мира» у Папини. Это иррациональный и мистический процесс. Лучше всего его осо-

бенности заметны в последней части истории Раскольникова. Она включает в себе «Catharsis», процесс очищения Раскольникова, приготовляющий его к возрождению. Казалось бы, что он состоит из признания вины, покаяния, решения исправления. Но это только видимость. Раскольников возрождается не путем христианского признания вины и раскаяния. Если внимательно присмотреться к последним страницам «Преступления и наказания», мы убедимся, что вопреки мнимому впечатлению, даже после годичного пребывания на каторге, Раскольников совсем не признается в вине и не раскаивается. В эпилоге романа мы ясно читаем: «А что же? Он стыдился даже и пред Соней, которую мучил за это своим презрительным и грубым обращением. Но не бритой головы и кандалов он стыдился: его гордость сильно была уязвлена; он и заболел от уязвленной гордости. О, как бы счастлив он был, если бы мог сам обвинять себя! Он бы снес тогда все, даже стыд и позор. Но он строго судил себя, и ожесточенная совесть его не нашла никакой особенно ужасной вины в его прошедшем, кроме разве простого п р о м а х у, который со всяким мог случиться. Он стыдился именно того, что он, Раскольников погиб так слепо, безнадежно, глухо и глупо, по какому-то приговору слепой судьбы и должен смириться и покориться пред «бессмыслицей» какого-то приговора, если хочет успокоить себя... И хоть бы судьба послала ему раскаяние — жгучее раскаяние, разбивающее сердце, отгоняющее сон, такое раскаяние, от ужасных мук которого мерещится петля и омут. О, он бы обрадовался ему. Муки и слезы ведь это тоже жизнь. Но он не раскаивался в своем преступлении». И немного дальше Раскольников говорит «Совесть моя спокойна».

В свете этих слов, жестокость ужасных, предыдущих сцен, когда Раскольников становится на колени на перекрестке улиц и признается в убийстве, кажется еще глубже, еще пронизательнее. Раскольников становится на колени без сожаления, без раскаяния, следовательно без христианской надежды, как будто от самого сознания своего безвозвратного осуждения. В истории Раскольникова, Достоевский остался до самого конца апологетом проклятых, которых верно сопровождает на самое дно ада, и не поддается никакому соблазну спасения. Раскольников, становящийся на колени без сожаления и без надежды, это как будто страшное видение, которым Подполье должно мсти-

тельно преследовать других, всех тех, которые при виде проклятых закрывают глаза и ищут убежища в философии и в вере.

Поэтому последние страницы эпилога, относящиеся к внутреннему просветлению Раскольникова, содержат столько неясностей. Его внутреннее прояснение вытекает как будто из некой эволюции его садизма по отношению к Соне, если только оно не является видом условной лжи, которая должна скрыть под соответственным подобием правды, трагический вызов брошенный духовному миру.

Но так или иначе Достоевский допускает возможность возрождения. Быть может, неясностей последних страниц «Преступления и наказания» не следует принимать слишком дословно. Ведь и эсхатологическое воображение христиан ведет только к Страшному суду. Дальнейшую судьбу избавленных, воображение христиан представляет только в форме общих намеков. В этого рода делах достаточно самого дальнего намека. И быть может, не следует вникать ближе в его невыразимое содержание. И так мы можем удовлетвориться определением, что Достоевский допускает также возможность возрождения проклятых из Подполья. Оно однако не кажется нам христианским возрождением, вытекающим из сожаления и раскаяния. Оно скорее напоминает чудесное спасение Филоктета у Софокла, наперекор логике фактов, словно уступая чувствительности зрителей. Поэтому Раскольников открывая Евангелие в момент самого страшного падения, ищет в нем главу о воскресении Лазаря, соответствующую лучше всего в целом Новом завете его положению, поиску возрождения из небытия. Впрочем, вникая глубже, мы сами приходим к выводу, что возрождение настоящих проклятых, безвозвратно погибших не может произойти иначе, чем по примеру Феникса — возрождающегося из небытия.

Так или иначе, кажется, что Достоевский ставит одно важное условие возрождению павших — предыдущее, полное и безвозвратное осуждение, осознание и признание этого осуждения, одобрение его без надежды, как в сцене, когда Раскольников без сожаления и раскаяния становится на колени на мостовой. Кажется, что Достоевский знает только такое спасение, которое невозможно. Такого именно спасения требует он для униженных и обесчещенных.

Меньшим он не удовлетворится. Именно это, вызывающее, упрямое требование невозможного, является как будто самой главной чертой его специфического пафоса.

IV

Размышления об общих чертах моральных идей Достоевского дают нам возможность вникнуть немного лучше в положение поляков в его романах. Мы видим теперь как поляки с каторги, единственные, которых знал Достоевский, чуть не стали, но в принципе никак не могли стать его героями. Чем более они приближались к каторге и к безвозвратно проклятым, за метафизические права которых боролся Достоевский, тем более с точки зрения его философии, они казались ему врагами. Взяв Раскольникова за пример, мы постараемся проанализировать один за другим противоречивые пункты между героями Достоевского и поляками, которых он имел в виду.

Поляки, которых он знал по каторге, были мучениками своей идеи, в то время, как Раскольников в Сибири, страдает лишь в силу «бессмысленного приговора» судьбы. Его мучение, начиная со страшной сцены на улице, до конца первого года каторги, лишено какого-либо объяснения, какого-либо внутреннего или космического смысла. Во времена Достоевского, в мученичестве поляков был заключен глубокий, мессианский смысл: оно приближало момент искупления коррумпированного тиранами мира. Ссылные поляки не были безнадежно пропавшими, так как они принимали мистическое утешение в мессианизме, которое так же, как и все другие формы утешения, Достоевский решительно отвергал. Поэтому чем страшнее были муки поляков на каторге, чем более неутешными казались их страдания, чем более уподоблялись они внешне безвозвратно проклятым, — тем отчетливее в глазах Достоевского становились они незаконно апеллирующими к тому большому состраданию, какого он требовал для своих героев из Подполья. И так родилась фальшивая нота, появляющаяся постоянно в его конструкции поляков. В его романах они всегда являются лжемучениками, ложными графами (эпилог «Идиота»), фальшивыми магнатами. Поэтому чувство правильно подсказывает читателю, что поляки в романах

Достоевского будут исключены из реабилитации павших и проклятых. Действительно, поляки, и те, которых он видел на каторге, и те которых он описал в своих романах, каким бы ужасным не было их падение, никогда не доходят до такой степени падения, в каком Раскольников становится на колени на рынке. Они, поляки удовлетворяются философским или религиозным утешением, которое кажется Достоевскому лицемерием. В глазах Достоевского поляки как будто уклоняются от настоящего мученичества и поэтому, вопреки видимости, они не только негодны для жалости, но наоборот — должны быть разоблачены. Поляки для него — это самая опасная категория, ибо они сойдя на самое дно каторги, пытаются найти рациональное или мистическое объяснение мучений проклятых — тех мучений, которые с точки зрения Достоевского должны иметь **н и ч е м** необъяснимый характер, апеллирующий к нам своим извечным незаглушенным протестом.

Вышеуказанные обстоятельства как будто объясняют нам, почему у Достоевского конструкция самого плохого человека, является парадоксальной перифразой его воспоминаний о поляках из каторги, и почему вследствие этого, она носит название поляков.

Само собой разумеется, что преображения, каким подвергается Раскольников и вся концепция возрождения из небытия, касающаяся почти всех павших героев Достоевского, является в своей сути индивидуальным процессом, который находится вне всякой морали — коллективной, традиционной, имеющей хоть какие-то свои, определенные формы. Тот, кто поддается этому страшному процессу очищения и возрождения, делает это как бы на свою собственную ответственность, наперекор установленным понятиям, открывая в себе личную, индивидуальную моральность, непригодную ни в чем остальным смертным. Так как Достоевский не видит для настоящих проклятых другого спасения кроме иррационального возрождения, какое мы заметили у Раскольникова, он отвергает для них все традиционные, моральные формы, пригодные для приглашенных на праздник жизни, но бесполезные для людей из Подполья. Эта особенность его моральных идей объясняет нам, почему в его конструкции, поляки вместе с французами и немцами выступают как представители мнимой моральности, непригодной для людей из Подполья — этих единственных, настоящих героев Достоевского.

В сложной метафизике Достоевского, наверно можно было бы найти при методических поисках, тот оттенок мыслей, который приближает его моральные идеи к персонажам поляков в его романах. Эта часть наших рассуждений не претендует на исчерпание всего вопроса, она только стремится отметить в общих чертах органическую связь представленных Достоевским поляков с самым общим замыслом писателя.

Прежде чем закончить наши рассуждения, следует нам подумать над тем, в какой степени идеи Достоевского, относящиеся к его изображению поляков, связаны с временем и обстоятельствами жизни автора. Существование такой связи кажется нам бесспорным, особенно если подойти к моральности, как индивидуальному опыту. Ясно, что формы и моральные традиции могут принимать определенные очертания только тогда, когда они охватывают большие среды, которые достаточно дифференцированы изнутри, дабы вытекающие из них доктрины соответствовали действительному разнообразию моральных проблем выдвинутых жизнью. Итак, Россию, в которой жил Достоевский, он видел разделенной глубоко изнутри на различные и мало проницаемые слои. Верхушка общества с существующими властями и учреждениями до конца жизни казалась Достоевскому лишенной собственного морального авторитета. И даже будучи национальным писателем, пользующийся признанием самого прокурора Святейшего Синода, Достоевский всегда смотрел на власть как на кошмарного курьера, образ которого с детства болезненно врезался навсегда в его память. В его произведениях мы не найдем ничего, что позволяло бы предполагать какую-либо связь между его моральными идеями и существованием высших слоев общества и их нравами. Отторгнутый от них из-за своих личных, трагических переживаний, Достоевский пытался сблизиться душевно с простонародьем, которое поначалу казалось ему сборищем жутких, преступных людей, заселяющих каторгу. Тут надо заметить, что если контакт Достоевского с общественными низами не ограничивается каторгой, то все же он навсегда перенял от этой последней, страшный отпечаток жестокости, которая словно обременяет все народные персонажи его романов. И хотя он до конца остался поборником и певцом преступного каторжного народа, ни он сам, ни его настоящие герои не идентифицируются нигде с самыми низкими сло-

ями общества. Вместе с Достоевским они жители трагического Подполья, изолированные от всякой общественной жизни, повиснувшие между отталкивающей их верхушкой и разверзающейся под их ногами бездной каторги, в невыразимом, общественном и моральном одиночестве.

Но каким образом создавать моральные ценности в этой совершенно изолированной со всех сторон общественной пустоте? Существуют ли вообще в этой пустоте моральные достоинства? Произведения Достоевского являются в значительной мере ответом на вышеуказанные вопросы. Это великий эксперимент, великая попытка создания индивидуальных, моральных ценностей, человеком повиснувшим в трагическом, общественном и моральном вакууме, в котором никто добровольно не пробывает.

Результаты экспериментов проделанных в Подполье Достоевским, бросают какой-то новый, зловещий луч света на мораль одинокого человека, на мораль двух людей, но нет у них, однако никакого разумного отношения к коллективной и общественной морали, охватывающей больше чем три лица. Впрочем, людям из Подполья ни к чему коллективная моральность. Поэтому идеи Достоевского, из которых возникает изображение поляков в его романах, начатые в Мертвом доме звучат так странно в домах живых людей. Ибо в своей глубинной сущности они совершенно оторваны от всяких дел, объединяющих или разделяющих живое общество.

1931

Перевод: А. Г.

Ежи СТЕМПОВСКИЙ

Научная фантастика и пришествие Антихриста

Литературный жанр, называемый научной фантастикой, развивается вот уже больше ста лет и сегодня у нас не остается сомнений относительно его жизнеспособности. В узком смысле этот жанр представляет собой повествование о приключениях в будущем мире, преображенном с помощью техники и тут классиком остается Жюль Верн. Его книги особенно ясно указывают нам генеалогию жанра — переворот в науке, происшедший в XIX веке и создавший убеждение в бесконечности технического прогресса. Любимые герои Жюль Верна — это одинокие ученые, опережающие мысль своих современников. Часто действие происходит в настоящее время, но в это настоящее врывается будущее в форме изобретения, сделанного гениальным одиночкой (подводный корабль капитана Немо, телевидение в «Замке в Карпатах»).

Научная фантастика стала, однако, быстро наполняться новым содержанием. Появился образ послезавтрашнего мира, с тем, что авторы XX века представляют его преимущественно в пессимистическом виде, причем невозможно провести отчетливой границы между технической фантазией и философским размышлением. Эта промежуточная полоса включает все — от предсказаний «мести» творений человеческого разума, восставших против человека (например, бунты роботов), до описаний каких-то гипотетических цивилизаций, в которых авторы делают упор не на технику, а на отношения между людьми. К этого рода романам принадлежат как «Машина времени» Г. Дж. Уэл-

лса (1895), так и «Мы» Е. Замятина (1926), как «Новый прекрасный мир» О. Хаксли (1932), так и «1984» Дж. Оруэлла (1949). Таким образом, не имея точных терминов, можно, пожалуй, говорить о научной фантастике в более широком смысле. Научной фантастикой в таком случае было бы всякое повествование, которое «притворяется», что оно написано в прошедшем времени, хотя должно было быть написано в будущем совершенном. Должно было бы — но помешала этому грамматика. Происшествия, которые «будут» лишены достаточной силы убеждения, а герой, который «сделает», «увидит», «пойдет» для нас не-реален. Поэтому предсказание (речь ведь здесь идет о предсказании) грамматически замаскировано: герой, живущий в 3000-ом году «сделал», «увидел», «пошел». Но так же написан и Апокалипсис св. Иоанна. То, что должно сбыться рассказано так, как будто уже сбылось — в видении на острове Патмос.

Заметим, что научная фантастика рождается тогда, когда пространственное измерение перестает стимулировать человеческое воображение и заменяется временным измерением. Начиная с XVI-го века во множестве появляются повести о фантастических странах, островах, народах, где-то там существующих на огромной, плохо еще исследованной Земле. Одной из таких повестей обязана своим именем Калифорния. Происходили также преобразования, похожие на те, что мы замечаем сегодня: преобразования простодушно описанных приключений в утопию и философскую сатиру. Плодом такого преобразования были «Путешествия Гулливера» Свифта. Новое измерение — временное — начинает исследоваться именно тогда, когда исчезают на картах последние белые пятна и последний «остров счастья» — Таити сохраняет свой былой облик лишь на полотнах Гогэна. Кто-нибудь сможет возразить, что и научная фантастика занимается пространством, ибо часто вводит отдаленные планеты. Тем не менее, это планеты будущие, т. е. те, на которые человек попадет когда-нибудь, он отделен от них не столько пространством, сколько временем своей постепенно совершенствующейся техники.

Несмотря на то, что большинство научно-фантастических произведений не представляет литературной ценно-

сти, этот жанр, повидимому, побеждает в соперничестве с так называемым современным романом. Разложение реалистической прозы происходит более или менее параллельно распаду предметной живописи и вызвано теми же причинами. Или предмет, наблюдаемый человеком и имеющий собственное объективное бытие. Или наблюдатель со своим свободным толкованием. Уже художники-импрессионисты выбрали последнее, а потом дело пошло быстро. Оставив в стороне живопись, надо просто сказать, что у повествования, будь то народная сказка, героический эпос или роман, есть, свои твердые законы и один из этих законов — удовлетворение любопытства, выраженного вопросами: «что было?», «что будет дальше?». Иными словами, слушатель или читатель хочет общаться с некой действительностью, забывая о том, что она выдумана. Роман, в котором действительность разлетается на осколки, блестящие сигналы и в котором читателю упорно напоминают, что все происходит в уме рассказчика — такой роман не соблюдает основного условия. Автор научно-фантастического романа не пользуется привилегией безмолвных ссылок на известный, действительный мир, но эта привилегия есть у автора, помещающего своих героев в городе 1970-го года. Тот, кто забирает нас с собой в путешествие по времени, должен как бы с самого начала построить свою действительность, придать ей правдоподобие. Такой автор чем-то похож на хроникера, занятого фактами и порядком событий, и это сходство вынуждает его фантазию приближаться к образцам классического повествования.

Научная фантастика в особенности полезна, когда мы задумываемся над возможностями человеческого воображения. Достаточно взять какую-нибудь повесть, написанную несколько десятков лет назад, например роман Уэллса или Хаксли о новых машинах или предполагаемых формах новой цивилизации — и сравнить с тем, что мы знаем сегодня. Тогда окажется, что удивительно точные предсказания переплетены со множеством деталей, присущих прошедшей эпохе. Это род сна, хотя время от времени мы узнаем черты мира, в котором живем. Ибо воображение может строить только из материала, данного здесь и сейчас. Оно может заглянуть в будущее лишь настолько, насколько само умеет выловить из действительности предзнаменования, отличив при этом предзнаменования потенциально

действенные от кажущихся действенными, но по существу иллюзорных.

Интуиция Жюль Верна угадала то, что потенциально скрывалось в открытиях науки того времени, поэтому его герои спускаются на дно океана, пробиваются к центру Земли, или летят на Луну. Но по своему мышлению нравам, одежде — они дети XIX-го столетия. Заслуживают восхищения писатели, предвидевшие роль химических препаратов как средств тоталитарного контроля. Однако, читая этих авторов, мы то выкрикиваем: «совсем так», то «совсем не так». Когда речь идет о философском размышлении над будущим дело особенно усложняется — ибо моралистов и сатириков волнует окружающее их общество и грозящие этому обществу катастрофы, такие авторы пытаются предугадать «к чему это ведет». Иногда, например, у Станислава Игнатия Виткевича, будущее почти так же условно, как пространство у Свифта. Трудности тем более велики, что в переплетении, в сгустке разных элементов — что представляется характерным для этого жанра, — можно различить, по сути, три времени — время писания (особенно явное в вещах первой половины века), время читателя и время будущее по отношению к читателю, неопределенное, на границе того, что мы знаем из нашего опыта и того, что может случиться.



Владимир Соловьев написал «Три разговора» в конце 1899 и в начале 1900 года, перед самой смертью, замыкая этой книгой свое литературное творчество, очень обширное, несмотря на то, что он жил всего сорок семь лет. Полное название книги, опубликованной в том же 1900 году — «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, с включением короткой повести об Антихристе и с приложениями». Цель книги определена в предисловии — полемика и апологетика; книга заключает в себе предостережение и пророчество. До сих пор Соловьев пользовался для своих высказываний формой трактата, лекции и поэзии. На этот раз он ввел в книгу несколько действующих лиц. Действие происходит и в настоящее время и в будущем. Группа русских случайно встречается

у подножья Альп, на берегу Средиземного моря. В течение трех вечеров, проведенных вместе, каждый из них излагает свою особую точку зрения по религиозно-моральным вопросам. Большинство провозглашает взгляды, по крайней мере частично разделяемые автором. Это старый Генерал, Политик, г-н Z и Дама. Иначе дело обстоит с молодым Князем. В его мыслях видны симптомы той духовной болезни, которая, по мнению автора, поразит большинство людей в будущем. А чем будет это будущее, мы узнаем от г-на Z, который в конце третьего и последнего разговора читает вслух мнимую рукопись монаха Пансофия. В этой рукописи события двадцатого и двадцать первого столетия описаны, по примеру Апокалипсиса св. Иоанна, в прошедшем времени.

Размышления над жизнью и трудами Соловьева, над соотношением «Трех разговоров» и его остального творчества мы оставим людям более компетентным. О Соловьеве опубликовано много работ на разных языках. Нас интересует если не самое простое, то во всяком случае наиболее непосредственно нас касающееся. Ибо почему нам следует стыдиться самых естественных реакций, того сплетнического любопытства, которое, когда мы наталкиваемся на старое пророчество, заставляет нас спросить «сбывается или не сбывается?». Формально ведь рукопись монаха Пансофия — не что иное, как научная Фантастика, если мы согласимся принять более широкое определение этого термина. И произведение это подчиняется общим правилам, несмотря на то, что оно вытекает из другой традиции. Ибо хотя лаборатории ученых девятнадцатого века породили новый литературный жанр, христианский фольклор на протяжении столетий накапливал признаки приближения события первостепенной важности: Второго пришествия, предшествуемого появлением Антихриста, Миллениума, конца времен. Быть может, популярность научной фантастики в наше время объясняется именно тем, что этот жанр нашел подготовленную почву, используя старые залежи в подсознании и это связывает его с фольклором. Рукопись монаха Пансофия настолько насыщена фактами, что может соперничать с самыми жуткими романами. И надо признаться, мы распознаем в ней очертания нашего мира, но несколько туманные и со смещенными пропорциями. Можно это сравнить с напечатанной страницей, в которой

строки набраны правильно, но порядок их перемешан, и мы не всегда знаем, что за чем должно следовать.

Напомним основные предпосылки Соловьева. Он увидел в историческом процессе скрытую логику и моральный смысл. Точка, в которой сходятся все нити истории — это, по его мнению, христианство. Он сожалел о расколе христианства на католицизм, православие и протестантизм. Соловьев окончил жизнь в лоне восточной Церкви, но склонялся к католицизму и не только теоретически — он «присоединился» к католической церкви, принимая там причастие. По его мнению, единственным выходом для Европы было воссоединение христианства и теократический строй. Из «Трех разговоров» следует, что это невозможно, ибо такой строй означал бы конец того, что мы привыкли называть историей.

Двадцатый век в рукописи Пансофия проходит под знаком влияния и могущества Азии. Япония перенимает у Европы не только технику, но и идеи, разрабатывая по примеру панславизма и пангерманизма свою идею — панмонголизм. Таким образом вооруженные японцы начинают покорение Китая и сажают на китайский престол японскую династию, убедив китайцев в необходимости модернизироваться и вместе с Японией выступить против белой расы. Китайская армия и флот, обучаемые японскими инструкторами, черпают из огромных людских резервов Маньчжурии, Китая, Монголии, Тибета и быстро организуются. В течение двух десятков лет французы вынуждены покинуть Тонкин и Сиам, англичане — Бирму. Весь Индо-Китай переходит во власть китайской империи. В это время Европа ведет последнюю войну со странами ислама, что отвлекает ее внимание от опасности со стороны Востока.

В китайском Туркестане концентрируется четырехмиллионная армия, предназначенная, как убеждает русских китайская дипломатия, для войны с Индией. Нападение этой армии на азиатскую часть России, где немедленно вспыхивает восстание всего населения против русских, настолько внезапно, что монголы вскоре пересекают Урал. Русские войска, спешно переброшенные с запада, из Польши, Литвы, Финляндии, Волыни истекают кровью в безнадежных боях. Другая русская армия, отрезанная в Сибири, безуспешно пытается нанести Китаю удар с севера. Оставив часть своих сил в России — для борьбы с партизанами, монголы с тремя армиями переходят границу Германии.

Здесь успели уже подготовиться и одна из монгольских армий разбита наголову. Но тогда во Франции берет верх партия реванша и французы нападают на немцев с тыла (делая поправку на типичное смещение обстоятельств, во всем этом можно заметить сходство с войной 1914 года). Монголы братаются с новыми союзниками, после чего вырезают их всех «с китайской аккуратностью»... Революционный Париж, в котором победили рабочие «sans patrie» радостно встречает восточных владык. Флот завоевателей, подоспевший из Тихого океана, готов к вторжению в Англию, но англичане откупаются миллиардом фунтов. Впрочем, флот нужен для действий против Америки и Австралии. В течение года вся Европа становится вассалом Азии и остается под оккупацией пятьдесят лет. Долго и старательно организованная конспиративная сеть, тайно поддерживаемая правительствами европейских государств, которым удается обмануть бдительность китайских наместников, приводит наконец к одновременному общеевропейскому восстанию и изгнанию монголов.

Европа двадцать первого века уже не та, что была до монгольского нашествия. Международная солидарность, развившаяся благодаря сопротивлению захватчикам, привела к исчезновению национализмов и суверенность отдельных государств перестала иметь значение. Более или менее демократические страны создают Соединенные Штаты Европы. Материальный прогресс, задержанный в течение последнего полустолетия, снова идет ускоренным ходом. В то же время множество открытий в области физиологии и психологии ставят в новом освещении неразрешенные вопросы жизни и смерти, предназначения мира и человека. Материалистическое мировоззрение, представляющее себе вселенную как бесконечную цепь случайных изменений, кажется людям наивным, человечество вырастает из него, как ребенок вырастает из слишком тесного костюма. Определенный, довольно высокий, уровень обязывает как неверующих, так и верующих, когда они дискутируют о религии. Число верующих христиан незначительно, на всем земном шаре осталось только сорок пять миллионов, так как отпали все те, кто раньше считался христианином по нравственной и общественной инерции. Теряя на количестве, христиане приобрели на качестве, как в моральном, так и в интеллектуальном отношениях. Они не ограничиваются наивной верой, т. е. следуют советам

апостола Павла, который завещал быть младенцами сердцем, но не умом. Осталось разделение на католиков, православных и протестантов, но нет уже взаимной враждебности и недоверчивости. Нехристианское большинство также ведет усердные религиозные поиски. Это век синкретизма, перемешанных верований Запада и Востока, небуддизма, сатанических сект.

Тогда-то и появляется Антихрист. Создавая его облик, Соловьев опирался и на Новый Завет и следующую за ним богатую христианскую литературу, и на размышления о своих современниках. Антихрист вбирает в себя все те стремления, которые уже видны в 1899 году и должны созреть до своего логического завершения. Следует подчеркнуть, что не принадлежит к ним философский материализм — по Соловьеву, это временное явление. Бессознательный предвестник Антихриста в «Трех разговорах» — это кроткий толстовец Князь, который отнюдь не выдает себя за материалиста.

В предисловии к «Трем разговорам» Соловьев рассказывает о странной секте дыромоляев, возникшей, по донесениям газет, в отдаленных районах России. Мужики сверлили дыру в стене и молились на нее: «Дыра моя, изба моя, спаси меня!». Но Соловьев считает, что на этих сектантов похожи образованные «дыромоляи», чье учение ширилось среди интеллигенции. Их призывы ко всеобщей доброте, справедливости и братству означали принятие этических указаний христианства и отказ от его метафизических основ, т. е. были ничем иным как молитвой в дыру, в пустоту. В центре мышления Соловьева, напомним это, стоит одна аксиома: смерть. Он не соглашался с теми, кто пытаясь смягчить жестокость биологических законов, говорил о вечном возрождении жизни в природе. В природе нет никакого возрождения, ибо эта данная муха, этот данный цветок, эта данная птица живут только один раз и дают начало не новым себе самим, а другим индивидуумам. Смерть — достаточное доказательство порочности вселенной, это клеймо дьявола. Человек не может уйти от одного, самого главного или-или: или Христос воскрес и победил адову силу, или не воскрес. Тем, кто выбирает последнее, Соловьев советовал обратиться в буддизм вместо того, чтобы ссылаться на Евангелие.

Почему собравшиеся над Средиземным морем дискутируют в «Трех разговорах» о войне и мире? Война — это

несчастье, в котором ярче всего проявляется несовершенство человеческих учреждений. Полный отказ от войны, принципиальный, независимо от обстоятельств означал бы, что мы способны ценить благо ближнего больше, чем собственное. Но Генерал, один из тех скромных и чистых сердцем военных, которых так любят русские писатели, вступает за идеал христианского рыцаря и за справедливую войну в защиту угнетенных. Политик утверждает, что культурный прогресс прививает людям отвращение к войне и, вероятно, приведет к ее исчезновению. Князь же, пацифистский деятель, верит, что евангелическая любовь к ближнему и непротивление злу не только искоренят войны, но и превратят страждущее человечество в человечество разумное и счастливое. Учитель и законодатель Князя — Иисус, но Иисус в глазах Князя был только человеком и смерть забрала его, как и всех. «Три разговора» — полемика с Толстым и косвенно с Руссо — сохраняют свою актуальность благодаря значению их центральной проблемы. Если человек по природе своей невинен и просто испорчен и «отчужден» обществом, значит, улучшая общество можно вернуть человеку невинность. Однако, если «мир в зло погружен» и зло срослось с самим «его» человека, тогда мы должны в наших расчетах принять во внимание это отсутствие невинности, в противном случае мы рискуем стать жертвой «мести» со стороны слишком идеально задуманного устройства общества. На аргументы Князя г-н Z (голос самого Соловьева) отвечает чтением рукописи монаха. Хотя в двадцатом веке войны обманут надежды Князя, в двадцать первом столетии появится гениальный мудрец, друг человеческого рода, и это он, сначала президент Соединенных Штатов Европы, затем император со столицей в Риме, реализует все помыслы Князя, принесет жителям всей земли мир, справедливость и благосостояние. Но это будет Антихрист.

Позволю себе здесь небольшое отступление. Эта статья о Соловьеве, вероятно, никогда бы не была написана, если бы я не видел, давно — в дни молодости, фрески Синьорелли в соборе Орвьето. Работая над «Проповедью Антихриста» (сразу же после 1500 года) Лука Синьорелли как будто следовал образцам более ранних народных гравюр по дереву. Не берусь утверждать, что Соловьев был когда-либо в Орвьето. Во всяком случае Антихрист Соловьева доказывает некую живучесть традиции, продолжен-

ной русским философом. Это Антихрист, который выглядит так же, совсем так же, как известный из иконографии Христос, он указывает даже рукой на свое сердце, пылающее огнем любви к людям, только он слушает, что шепчет ему на ухо демон.

Сверхчеловек двадцать первого века у Соловьева сочетает необыкновенные умственные способности с безукоризненной личной этикой. Своим призванием он считает устройство такого общества, которое воплотило бы заповеди Евангелия. И, подчеркнем это, он не знает, что он Антихрист. Не знает по крайней мере до того момента, пока сознательно не вознесет себя выше Христа, ибо Христос был лишь его предшественником и не воскрес, а он превратит в действительность заветы своего предшественника. Сверхчеловек сам верит, что он действует из любви к людям, но по существу, он любит лишь самого себя, т. е. совершает великие дела, чтобы возвеличить себя в собственных глазах. Тут Соловьев в полном согласии с апокалиптическим фольклором, который видел причину мирового зла в бунте ангела великой мудрости и красоты: ангел этот предпочел себя Богу. Соловьев — один из тех философов-пессимистов, для которых всякое «его» повторяет акт падшего ангела. Ибо такова сущность Натуры, изменить которую может лишь вмешательство Божественной Благодати. Чем сильнее «его» — мужей, ниспосланных провидением, вождей, диктаторов — тем больше должны они преклоняться перед самими собой. Сверхчеловек Соловьева, обуреваемый сомнениями, пытается совершить самоубийство, но его спасает Князь Этого Мира, он слышит его голос (эта сцена является точным негативом крещения Христа в Иордане). После этой критической ночи сверхчеловек пишет книгу «Открытый путь ко вселенскому миру и благоденствию», такую убедительную в интеллектуальном и художественном отношении, такую ясную, что все находят в ней самую очевидную правду. Переведенная на множество языков, книга приносит ему такую славу, что единогласный выбор его в президенты Европы и вскоре после этого — в императоры народов Земли неотвратим.

Великий человек исполняет все, что он обещал. И заботится он не только о мире и хлебе, но и о духовных запросах человечества. Его советником и другом становится маг Аполлоний, полуазиат-полуевропеец, католический епи-

скоп in partibus infidelium (затем кардинал), знакомый с современными методами западной науки, равно как и со всем самым ценным в восточной мистике. О нем ходят слухи, что он умеет сводить огонь с небес. В действительности Аполлоний, соединив науку и магию, пришел к необыкновенным результатам, он может одним усилием своей воли концентрировать и затем употреблять по своему усмотрению атмосферическое электричество. Аполлония боготворят необуддисты. Самого императора, масона, почетного доктора теологии тюбингенского университета, евреи считают Мессией. В двадцать первом веке Палестина, со столицей Иерусалимом, управляется и населена евреями. В то время евреи насчитывают примерно 30 миллионов человек. Император переносит свою столицу из Рима в Иерусалим и распространяет слухи о том, что главная задача его политики — восстановить всемирное владычество Израйля.

На четвертом году царствования, в том же Иерусалиме император раскрывается как Антихрист и вслед за этим, очень быстро — в течение всего лишь нескольких дней — происходят события, предсказанные в Апокалипсисе. Все это является следствием решения императора объявить себя помазанником Божиим и благодетелем всех христиан. Вселенский собор, созданный в Иерусалиме с участием католиков (давно изгнанное из Рима папство пребывает в Петербурге), православных и протестантов, поддерживает императора. Против выступают лишь святой старец Иоанн, папа Петр II и немецкий теолог Паули. Старец Иоанн и Петр II разоблачают императора как Антихриста и погибают, убитые кардиналом Аполлонием с помощью «небесного огня», а их трупы выставлены на публичное осмеяние. Горсть верных под водительством доктора Паули скрывается в иерихонской пустыне. Избранный папой Аполлоний совершает воссоединение церквей, что следует истолковывать как передачу царства не от мира сего светской власти, которая дает земное счастье и совершает научно-магические чудеса.

«Конец времен» и начало Миллениума в «трех разговорах» лишь бегло набросаны. Короткий по сравнению со всей историей человечества цикл, начавшийся рождением Младенца из колена Давидова, замыкается в Израиле. Восстание евреев против лже-Мессии, резня по приказу императора евреев и непокорных христиан, воскресение старца Иоанна и Петра II, выступление миллионной еврейской

армии против войск Антихриста, идущих из Сирии, поглощение этих войск вместе с императором и лже-папой огненным кратером, открывшимся вблизи от Мертвого моря, Христос, снисходящий с небес над Иерусалимом — эти эсхатологические образы отклоняются от полемических, как подчеркивает Соловьев, положений «Трех разговоров» и вероятно поэтому показаны так сжато.

Эта краткость последней части рукописи затрудняет понимание концепции «антихристово добра». Могут сказать, что накормить голодных, спасти от унижения угнетенных, обеспечить мир всем народам — это немало. Можно выдвинуть аргумент, что эта концепция глубоко реакционна — она заранее ставит под подозрение каждое стремление к всемирному счастью. Это было бы несправедливо по отношению к Соловьеву. Его сверхчеловек заслуживает восхищения именно как благодетель человечества и если он Антихрист, то в этом проявляется вся загадка человеческой истории. Его власть опирается на обмане, который неизбежно должен привести к наихудшим результатам и начатый им террор был бы, очевидно, все более жестоким, если бы его не поглотила земля. Обман здесь равен требованию отдать Кесарю и кесарево и Богово, т. е. счастье давалось людям лишь ценой полного послушания как во всех своих мыслях, так и в делах. Ослушание немногих христиан у Соловьева является испытанием, благодаря которому гениальный властитель показывает, кто он в действительности.

Сопоставление рукописи монаха Пансофия с научной фантастикой позволяет задуматься над временем писания, задуматься над тем, почему из массы возможностей пишущий выбирает для оценки те или другие. Современникам Жюль Верна, в общем, не приходило в голову, что взрывчатые вещества, хотя и совершенствуемые все время в девятнадцатом веке, могут занести человека на самую Луну, а повести на эту тему читались как забавные сказки. Сегодня мы знаем, что вовсе не нужна необычайно длинная пушка для того, чтобы выстрелить междупланетный корабль, ибо такой корабль сам и пушка и снаряд. Тем не менее Жюль Верн правильно оценил возможности. Для пацифиста Князя в «Трех разговорах» рукопись Пансофия — бредни и он бы, вероятно, сразу же умер, если бы кто-нибудь его убедил, что таков и будет масштаб войн в двадцатом веке. Люди 1899 года плохо знали исто-

рию в межпланетном масштабе. Хотя и говорили тогда о «желтой опасности» (через десять с лишним лет после Соловьева будет об этом писать Освальд Шпенглер), требовался немалый скачок воображения, дабы предвидеть завоевание Китая Японией и косвенные этого последствия — победа революционной армии и военная мощь Китая. Династия, которую японцы у Соловьева сажают в Пекине — то же, что и длинный ствол орудия, выстреливающего снаряд на Луну у Жюль Верна. Соловьев, правда, не заботился о научном правдоподобии, а следовал за таинственным порядком, чувствующимся в узлах и основных сплетениях истории. Если бы он заботился о правдоподобии, то он не ввел бы в свою книгу тогда, когда сионистическое движение только-только зарождалось и практически не имело сторонников, еврейского государства со столицей в Иерусалиме и миллионной еврейской армии.

Воображение, углубляющееся в будущее, обречено на экстраполяцию, т. е. продлевание нитей, которые в данный момент считаются «линиями развития», а это ведет за собой много ошибок. К примеру, нельзя совсем исключить возможности того, что технический прогресс, после внезапного прыжка, задержится на долгое время, как это уже бывало в истории и в таком случае те, кто сегодня предполагает его бесконечное течение будут выглядеть в глазах завтрашних людей немного наивно. Однако читая Соловьева, мы замечаем иногда, что его двадцать первый век очень похож своим духовным содержанием на наш, а это значит, что русская интеллигенция 1899 г. могла дать внимательному наблюдателю немало исходных точек для предвидения. По особенным, специфическим для России причинам (например, сращение церкви и автократии), русская интеллигенция пережила более бурно и сокращенно ту метаморфозу, которая в западных странах из-за эластичности традиционных структур и свободы слова происходила медленнее и должна была распространиться лишь постепенно. Религиозная бездомность русской интеллигенции домогалась компенсации в религии человечности, создавая безграничные этические требования, обращенные, однако, не к отдельному человеку, а к «среде», которая несет ответственность за искажение хорошей человеческой природы. Это повторяется в наше время в светском гуманизме с его мечтами о конце отчуждения, т. е.

по сути дела, о завершении времен, так как ничто не удовлетворяет этих мечтаний, кроме картины строя, обходящегося без каких-либо пут и учреждений. В отличие от 1899 г. эта метаморфоза имеет место и вне христианства и в христианстве. Мы становимся свидетелями превращения церквей в клубы друзей человека, в сборища скаутов, играющих на гитарах и хлопающих в ладоши, а их готовность служить различным благородным делам, от борьбы с колониализмом до защиты медведей на Аляске, связана с теологией «смерти Бога», хотя они сами могут этого и не признавать. Этот процесс не миновал и католической церкви, которая за каждую цену стремится быть доступной светскому уму. Чтобы в этом убедиться, достаточно прочитать катехизис, одобренный голландской церковной иерархией: авторы его выделывают акробатические манипуляции для того, чтобы обойти невыгодные места и окантаться светлыми гуманистами. Историческая роль христианства на протяжении столетий была напоминанием о трагизме человеческого существования. Человек хочет быть добрым, но он не добр, хочет быть счастливым, но он несчастлив, хочет жить, а знает, что должен умереть и это сознание, отличающее его от всех остальных живых существ, оказывается угрюмой шуткой, ибо не может спасти человека от судьбы зверей. Убеждение, что земля это «юдоль плача», могло поддерживаться сильными и богатыми, ибо способствовало смирению угнетенных, но если христианство смягчающим образом влияло на варварские европейские народы, то это главным образом благодаря «Танцу смерти», объединяющему низших и высших, крестьян и королей. Об этом смягчающем влиянии слишком часто забывают. Сегодняшние туристы, осматривая французские готические церкви, с недоверием принимают известие о том, что строители работали по восемь часов в день с двумя свободными днями в неделю — субботой и воскресеньем. Много веков подряд Христос был отнюдь не филантропом и революционером: он был богочеловеком, противопоставленным порядку Натуры и сокрушающим этот порядок своим воскресением — «ибо мудростью тела есть смерть», — как говорит апостол Павел. Состояние умов полухристиан и постхристиан весьма загадочно, учитывая, что отсутствие веры в богочеловечность Христа принуждает их — под воздействием какой-то фатальной силы, — обожествлять добрую Натуру и противопоставлять

хорошего естественного человека репрессиям цивилизации. *)

Один американский радикал-активист (и миллионер) рассказывал однажды за обедом о своем любимом спорте — подводном нырянии, и о том, что он обычно чувствует, когда плавает под водой посреди великого множества морских созданий. Это была сказка об эльфах, с тем, что место веселых, общительных между собой и дружеских к человеку эльфов заняли разной величины и цветов рыбы. И по-видимому никому из слушателей не пришло в голову, что этот человек — помешанный. Его ненависть к обществу существующему и тоска по обществу идеальному были настолько сильны, что он обманывал себя, украшая голую борьбу зверей и растений за существование своими лозунгами всеобщей любви и мира. Поскольку человеческая цивилизация плоха, Натура должна быть хорошей, ибо где же, если не в будущем, гипотетическом возвращении в естественное состояние искать утешения, обещания земного рая?

Вскоре после смерти Соловьева для человечества начался цикл испытаний, настолько противоречащих всем понятиям девятнадцатого века, что воображение, в борьбе с ужасающей, неназванной действительностью, обращалось к древним, запечатленным в фольклоре архетипам. Дьявол, давно выгнанный во владения упырей и русалок, оказался вдруг действительным и далеко не смешным лицом. пытки, которые терпят осужденные на вечные муки на полотнах Иеронима Босха, перестали быть видениями больной психики, если люди поддавали таким же пыткам миллионы других людей. Вспомнили и о том, что в средневековой иконографии атрибутом дьявола была крематорная печь. Почему же, из-за какого парадокса, двадцатый век Соловьева, слишком мало кровавадный для наших кошмарных привычек, не кажется нам совершенно чужим? Из двух христианских традиций, касающихся Антихриста, одна представляла его воплощением чистого, открыто совершаемого зла, другая — обманщиком в личине доброты и смирения, волком в шкуре ягненка. Соловьев, так же как Лука Синьорелли до него, пошел за второй традицией, из-

*) Об этом пишут сейчас фрейдовским языком, но нельзя скрыть, что этот язык маскирует теологические проблемы и решения.

меняя ее по-своему, а плодом его воображения был Антихрист, который хочет добра и делает много добра, вводя в заблуждение не только других, но и самого себя. Так вот, хотя мы и не умеем свести нашу действительность к какому-нибудь общему знаменателю, ибо мы находимся в ней, а она в нас, ее быть может самая неожиданная черта — это добровольная слепота, отказ от исторического опыта, как будто человек узнал слишком много о своем демонизме и не мог этого вынести. Действует ли здесь выхолащивание из религии ее трагических элементов, чему примером в «Трех разговорах» Толстой (или, если угодно, Князь), или какие-либо другие причины, но в западных странах принимает массовые размеры движение новых адамитов, проповедующих возвращение к изначальной наготе и невинности. Император народов земли может навсегда остаться в сфере писательской фантазии. Но если появится такой сверхчеловек, обещая конец отчуждения, любовь и мир, то можно быть уверенным, что миллионы смертных, равнодушные к правде или неправде, отдадут ему божеские почести.

Чеслав МИЛОШ

Воскресение

Больница была в лагере чем-то вроде тихой пристани для потерпевших крушение. Редко случалось, что заключенный, проходя мимо массивного барака с большими окнами, не вздыхал про себя: вот бы на две-три недельки в больницу! В чистой постели, в светлой палате, с заботливой сестрой, с вежливым врачом, с тюремными сотоварищами, глядящими друг на друга иначе, чем в бараке — по-человечески, сочувствуя... Эти две или три недели возврата к человечности могли вернуть каждому из нас, за минуту до смерти, чувство собственного достоинства. Мы жаждали этих недель, мечтали о них за работой и по ночам. Дело было, по существу, не столько даже в отдыхе, сколько в возвращении — пусть мимолетном и непрочном — к былым понятиям о жизни и людях. Как и в Дом свиданий, зека шел в больницу, чтобы взглянуть на себя в зеркале прошлого. И как из Дома свиданий, возвращался в барак еще более сломленным, а не возрожденным.

Ибо за этот короткий возврат к нормальной жизни приходилось платить высокую цену. Существует немало преданий о безумцах, отдавших жизнь за искушение увидеть хотя бы на миг совершенную красоту; стремление, побуждающее их подписать этот самоубийственный договор с дьяволом, мы обыкновенно считаем источником непрекращающегося развития человечества. В уменьшенных масштабах лагерной жизни заключенные, отваживающиеся приоткрыть завесу, скрывающую их прежние представления о мире, походили в какой-то мере на своих легендарных предшественников. Платили же они за это минутное воскресение еще более пронзительным и болезненным чувством медленной смерти, к которой возвращались после вы-

писки, переступив порог больницы. Те, которым дано было умереть в больничной палате, — а не в «покойнической», на нарах в бараке, либо во время работы, — это были счастливики; им удалось еще раз увидеть лучшую сторону этого мира, прежде чем окончательно уйти в мир иной.

Жизнь в лагере возможна в том случае, если заключенный начисто вымажет из памяти шкалу ценностей, обязывающую на воле. Об этом и говорит популярная среди старых лагерников поговорка, которой обычно утешают новичков: «Ничего, привыкнешь». Совсем «привыкши», заключенный просто-напросто почти обо всем забыл. Он не помнит, о чем когда-то думал, что чувствовал, кого и за что любил, к чему был и к чему не был привязан. В практике такие зека не встречаются. Но случается встретить в лагерях людей, научившихся после многолетнего пребывания за колючей проволокой управлять своими воспоминаниями лучше, чем звериными инстинктами. Со временем этот бессознательный акт самозащиты порождает железную дисциплинированность, отгораживающую прошлое от настоящего непреодолимым барьером. Большинство заключенных не умеет поддаться этой дисциплине и одуряет себя воспоминаниями как наркотиками. Те, кто «все забыл», одновременно и сильнее и слабее остальных. Сильнее — ибо привыкли к лагерным законам, подсознательно считают их нормальными и естественными; слабее — ибо каждая трещина в их панцире, каждая случайность высвобождает наплыв подавленных воспоминаний, который уже нет силы задержать. Взрыв воспоминаний тем внезапнее и завладевают они мозгом, сердцем, телом тем стремительнее, чем глубже были запрятаны в мрачные глубины забвения.

Простым людям жилось в лагере легче. Они считали эту жизнь последним дном своего и раньше нелегкого существования, и, покорившись сердцем, ждали награды за терпение, с каким выносили страдания. Люди интеллигентные, богаче опытом, с живым воображением, были, как правило, более нетерпеливы. И если им не удавалось вооружиться хотя бы небольшой дозой цинизма, они становились бессильными жертвами воспоминаний. Очень характерно, что «кулаки» и уголовники неохотно шли в больницу, предпочитая несколько дней освобождения от работы пролежать в бараке. Они, сами того не понимая, как

бы боялись, что увидев хоть раз нечто, напоминающее свободу, не смогут больше вернуться в неволю. Но больница была настоящим убежищем для всех тех кто, несмотря на голос инстинкта, не хотел отказаться от памяти. Они встречали болезнь с радостью, а возвращались из больницы с лицами искаженными от боли, как люди, которых силой оторвали от щели в стене, в которую виден кусочек прошлого, а с прошлым и обманчивая надежда на будущее.

Больница помещалась в единственном, кроме Дома свиданий, бараке, построенном и содержавшимся не хуже «вольных» домов в соседнем городке Ерцева. По обе стороны широкого коридора тянулись палаты; в каждой из них было по два окна и стояло не больше восьми кроватей. Всюду царил образцовая чистота, особенно удивительная после заросших грязью барачков. Если бы не койки в коридоре, на которых больные по несколько суток дожидались свободного места в палате, наш медпункт ничем бы не отличался от скромных, но опрятных больниц в провинциальных европейских городках. Лагерные врачи и медсестры занимали маленькую комнатку — дежурку. В двух застекленных шкафах, стоящих у стены, хранились лекарства и инструменты. В неотложных случаях большой стол дежурки превращался в операционный.

Номинальным заведующим больницы был вольный врач из Ерцева, каждый второй день приходивший в зону на осмотр больных и в амбулаторию. Трое лагерных врачей — Левенштейн, обрусевший поляк Забельский и Татьяна Павловна — были ему подчинены. Заведующий не занимался освобождением зека от работы и приемом их в больницу, но он наблюдал за ходом лечения и имел решающий голос в вопросе о выписке. Этого было достаточно для контроля и предупреждения «злоупотреблений», на случай, если бы врачи, сами заключенные, захотели воспользоваться своим положением, чтобы помочь товарищам. На практике, однако, все лагерные врачи строго придерживались тюремных правил, помня о том, что минимальный проступок грозил переводом на общие работы. Больных можно было направлять в больницу с температурой выше 39°, а выписывать — с температурой выше 38°, не считая несчастных случаев и увечий на работе. Больше всего возможностей для нарушения тюремных правил было при освобождении больных от ра-

боты. Но и тут врачи боялись доносов своих «ассистентов» (так называемых лекпомов), чьей единственной квалификацией для получения этого поста были очень часто близкие связи с Третьим отделом. Иногда доносили и сами больные, используемые Третьим отделом для проверки лагерных врачей. Всегда лучше было недостараться, чем перестараться. Заключение, не получивший освобождения несмотря на «законную» температуру, никоим образом не отягчал врача, но разрешение остаться в зоне, данное заключенному с «недостаточной» температурой, могло прервать медицинскую карьеру врача в лагере навсегда. Объяснялось это правило очень просто и в какой-то степени логично. Власти считали, что вмешиваться в жизнь зека тогда, когда они могли вредить друг другу, не имеет смысла, нельзя было, однако, позволить им друг другу помогать. Было это логично, если полагать, что в неволе люди скорее друг другу помогают, чем вредят. Увы, этот принцип в советских лагерях не действовал. Кроме того, лагерный устав предвидел некий максимальный процент освобожденных от работы (кажется, 5%), который ни под каким видом нельзя было превышать. Случалось, что врач освобождал тяжелобольных, а тех, кто себя чувствовал чуть лучше, высылал на работу, обещая вознаграждение в будущем, все для того чтобы «чрезмерное» число освобожденных не обратило на себя внимание на вахте.

Лечение больных сводилось главным образом к прописыванию небольшой дозы отдыха и лошадиных доз жаропонижающих порошков. Лагерная аптечка была так убога, что сами зека помнили названия нескольких, чаще всего употребляемых снадобий и просили их, не дожидаясь докторского диагноза. Но согласно тайным инструкциям лагерных властей (я знал о них от одного знакомого врача), главное усилие направлялось на то, чтобы поставить на ноги тех, кто еще не совсем потерял трудоспособность. Для стариков, неизлечимых сердечников, хронических пеллагриков и туберкулезных больных медпункт был последним пристанищем перед смертью или «покойницкой». Обязанностью врачей было довести смертельнобольных до такого состояния, чтобы те, после короткого отдыха, могли собственными силами перейти в соседнюю «покойницкую», и умереть там, освобождая тем самым постель в больнице. Полное истощение работой, разные формы голодного сумасшествия, куриная слепота и авитаминоз в последней

стадии, когда тело представляет собой сплошную язву, а волосы и зубы выпадают, — все это квалифицировалось в лучшем случае непосредственно в «покойницкую», безо всяких попыток больничного лечения. Только тот зека, чей организм был еще достаточно живуч для восстановления сил с помощью короткого отдыха, мог рассчитывать на то, что его пребывание в больнице будет чем-то большим, чем просто побегом из тюремной действительности в страну мечтаний о прошлом.

Жизнь в больнице, по сравнению с лагерной, казалась неправдоподобной роскошью. Каждый больной вместе с направлением в больницу получал карточку в баню и отдавал у входа в палату свои лохмотья, получая взамен чистое белье. У него была покрытая чистой простыней кровать, рядом с которой стоял маленький ночной столик. Независимо от нормы, получаемой до болезни, зека переводился на «третий котел», включавший овощной салат против авитаминоза и большую порцию белого хлеба. Пеллагрикам давали, кроме того, два куска сахару и кусочек маргарина. Все это было так необыкновенно, что не верилось собственным глазам, и зека, навещавшие больных друзей, застывали на пороге, сорвав шапку с головы и не отваживаясь войти. Лишь ободренные вежливым приглашением медсестры они входили в палату.

Тот, кто пишет о советских лагерях, не может не упомянуть подкупающей вежливости и сердечности медсестер. Может, из-за того, что хотя бы дни проводили они в немногих более человеческих условиях, а может, потому, что больница была единственным в лагере местом, где можно было облегчить человеческое страдание, — но лагерные сестры относились к больным с такой заботливостью, внимательностью и самоотверженностью, что мы считали их как бы неземными существами, которых лишь какая-то бессмысленная выходка судьбы обрекла на жизнь и невзгоды лагеря. Больничная атмосфера влияла также и на вольных. Начальник лагеря Самсонов обменивался во время инспекции словом-двумя с каждым из больных, а вольный врач Егоров (о котором было известно, что он сам когда-то сидел), не мог скрыть теплых ноток в своем суровом голосе, когда останавливался возле больничной постели.

Мои больничные наблюдения в ерцевском лагере, дополненные рассказами других заключенных позволяют сле-

лать вывод, что в России царствует нечто вроде «больничного культа». Даже в худших лагерях, даже в период «произвола», больницы были как бы поставлены вне системы советского рабства, и сохранили другой, более человеческий статус. Было что-то невероятное в том, что после выписки едва переступив порог медпункта, заключенный вновь становится заключенным, а неподвижно лежа на больничной кровати он пользовался правами человека, кроме свободы. Непривыкшему к контрастам советской жизни лагерные больницы казались церквями посреди свирепствующей инквизиции — нарушить господствовавшие в них законы было святотатством. Возможно, что в них человека не чтили, но, во всяком случае, уважали его в тех границах, которые позволяют отличить наказание от пытки.

Трудно удивляться в связи с этим, что зека делали все, лишь бы попасть в больницу. Был период, когда таким средством стало нанесение самому себе увечья на работе. Я видел многих зека с отрубленными пальцами на одной или обеих руках, а мой славный Димка в 1937 году заплатил за три месяца лазарета в Няндоме протезом вместо правой ноги. Позднее, этому же протезу он был обязан сравнительно легкой работой дневального в бараке. Однако уже в 1940 году лагерные власти, перепуганные распространением увечий, догадались об их причинах и с того времени «несчастные случаи на работе», неподтвержденные точным свидетельским показанием, карались, как «саботаж», добавочным десятилетним сроком. Понятие «умышленное членовредительство» было подтянуто под статью советского уголовного кодекса, трактующую о «вредительстве». Несмотря на это, я еще в декабре 1941 года был свидетелем, как в зону привезли с лесоповала молодого зека с отрубленной ступней; за два дня до этого его выписали, не обращая внимания на слезы и мольбы, из больницы.

Зека не поддавались. Загноение даже маленькой ранки вызывало гнойное воспаление, которое иногда доводило лишь до субфебрильного состояния, но время от времени поднимало температуру до требуемого уровня. Среди уроков распространенным было впрыскивание жидкого мыла в мо-

чеиспускательный канал, что давало гнойную опухоль, симулировавшую венерическое заболевание, и влекло за собой освобождение от работы хотя бы на время медицинского наблюдения. Я сам, наработавшись на базе так, что чувствовал прилепившуюся к спине потную рубашку, разделся на 35-градусном морозе до пояса, — и днем позже — это было в феврале 1941 года — лег на две недели в больницу.

В большой палате сестра указала мне место между немцем С и русским киноактером Михаилом Степановичем В. Первые несколько дней мы лежали рядом, не произнося ни слова. Больничный день тянулся медленно, а ночи, — когда я уже немного отоспался, — текли как бы вне законов времени. Я лежал, уставив глаза в потолок, или смотря в белые, обледеневшие окна, за которыми простиралась непроницаемая тьма. Я старался не спать, чтобы хоть так продлить пребывание в больнице. Теперь я чувствовал сильнее, с напряженностью, граничащей с болью и радостью одновременно, все свое унижение, всю нищету тюремной жизни. Но в то же время я воскресал в тишине и одиночестве, и мечтал неоднократно, как о высшем счастье, о переводе в одиночку. После полуночи палаты обходила сестра Евгения Федоровна и, не зажигая света, каждому из нас по очереди клала на лоб прохладную ладонь. Я притворялся спящим, чтобы избежать расспросов. Но помню, как однажды молча схватил ее руку и прижал к ней высушенные жаром губы. Она взглянула на меня с удивлением и инстинктивным страхом, но с того времени, входя в нашу палату, всегда приветствовала меня улыбкой. Больница была единственным в лагере и тюрьме местом, где по ночам тушили свет. И вот тогда, в темноте, понял я в первый раз, что лишь одиночество есть тем состоянием в человеческой жизни, которое граничит с полным внутренним спокойствием, с осознанием своей личности. Лишь во всепоглощающей пустоте одиночества, в темноте, стирающей контуры действительности, можно почувствовать самого себя до пределов сомнения, которое помогает открыть собственное ничтожество в страшно нарастающей огромности вселенной. Если это состояние назвать мистическим, если оно толкает человека в объятия религии, то я веровал тогда и кощунственно молился: «Господи, дай мне одиночество, ибо я ненавижу людей». Ибо я чувствовал в себе не только радостное возбуждение воскресения

личности, но и смерть всего, что связывало меня с другими людьми. Я не думал о лагере, не думал о погибавших за бортом спасательной шлюпки больницы. Не думал о близких, о друзьях, — ни о ком, кроме самого себя. И так, воскресая, я умирал, с нарастающей изо дня в день ненавистью размышлял я о том, кто придет завтра занять мое место. Горькое это торжество — приподнять могильный камень в бесплодной и выжженной пустыне. Те минуты, когда ночь касалась моих воспаленных губ росой темноты, когда я слышал стук своего сердца, как шаги, отмечающие бесконечность, — вернули мне уверенность в собственном существовании, отобрав уважение к существованию других. Я был как слепой, прозревший в пустоте, полной зеркал, отражающих лишь его одиночество.

Это состояние длилось не дольше, чем высокая температура, — около пяти дней. После этого силы вернулись ко мне настолько, что я приподнимался днем в постели и пытался даже завести разговор с моими соседями. Более общительным оказался Михаил Степанович В., красивый старец с седой бородой клином и бритой головой, который до ареста играл роли бояр в советских исторических фильмах. Популярность, которой пользуются в России все киноактеры, не исключая статистов, была причиной того, что после года работы в лесу Михаила Степановича расконвоировали и послали на один из складов базы в качестве ночного сторожа. Жилось ему неплохо, Вольнонаемные служащие базы время от времени всовывали ему в руки кусок хлеба или сигарету. Казалось, что Михаил Степанович доволен своей судьбой. Он рассказывал о себе грубоким, немного экзальтированным голосом, характерным для людей, соприкоснувшихся с актерским ремеслом. Я пишу о нем больше, чем обычно, потому что ни разу в лагере не встречал человека, который, как Михаил Степанович, считал бы все, что с ним произошло с момента ареста совершенно естественным. Была в нем покорность человека, воспитанного в послушании и уважении ко всякой власти, дисциплина образцового гражданина. Даже рассказывая о том, как в 1937 году его арестовали за игру, подчеркивающую в каком-то фильме благородство одного из бояр Ивана Грозного, он не позволил себе ни малейшую улыбку, а на лице его написана была такая глубокая серьезность, будто говорил он о настоящем преступлении. «Так надо, Густав Иосифович, — говорил он, — так на-

до...» Я пытался ему объяснить, что это глупо и бесчеловечно, но он слушал меня рассеянно, кротко глядя перед собой и поглаживая прекрасную свою бороду. Он был уверен, что величайшей наградой для честного человека является одобрение власти, а наибольшим позором — неудовольствие начальства. К судьбе товарищей Михаил Степанович относился равнодушно. «Как видно, заслужили» — говорил он время от времени, а иногда вдруг добавлял с выражением пронзительной боли в голосе: «Бедные люди, бедные люди...» Принадлежал он, по моему убеждению, к тому типу граждан, которые первыми, в стихийном порыве, исключаям всякое подозрение в двуличности, приветствуют свержение плохой власти, но никогда не осмелятся поднять на нее руку, пока она прочно сидит в седле. По существу, жили в нем два чувства: глубоко скрытый бунт против несправедливости и инстинктивная вера в то, что определять нормы справедливости и законов всегда должны власть имущие.

Михаил Степанович стыдился своего проступка. Стыдился, считая его, по сути, смешным. Было в старом киноактере что-то «старорежимное», на что я не мог смотреть без умиления: какая-то отжившая уже, анахроничная привычка считать тюрьмы справедливым наказанием, а осужденных настоящими преступниками. Его разум отбрасывал возможность лишения свободы невинного человека. Постепенно он поверил и в свою вину, а по крайней мере притворялся, что в нее верит, рассказывая часами, как увлекся безотчетно своей ролью и перешаржировал, искажая общую линию фильма. Не оставалось ничего другого, как серьезно слушать и сочувствовать его трагической ошибке. К счастью, Михаил Степанович быстро выздоровел. За два дня перед выпиской, стоя посреди палаты в театрально-рыцарской позе, в больничном халате, накинутом на белье, декламировал он нам стихи любимого им Пушкина. Помню только одну строку из «Песни о вещем Олеге», так как он ее очень часто повторял с драматическими ударениями на каждом слове:

«Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною...»

Мой второй сосед, немец С. был значительно молчаливее, хотя бы потому, что очень плохо говорил по-русски. Он не был коммунистом, но в 1934 году приехал в Баку как инженер-бурильщик, по договору, предусматри-

вающему поставку СССР специалистов по разным отраслям промышленности. Арестовали его в 1937 году, по обвинению в шпионаже. Среди всех моих знакомых по лагерю, обвиненных в самых невероятных преступлениях, С. был единственным, в чью вину я готов был поверить. Существуют люди, обращающие на себя внимание и возбуждающие подозрения одним своим видом и поведением — и С. принадлежал к их числу. На бледном, искаженном тюрьмой и болезнью лице жутким блеском горели глаза, в которых, кроме презрения и окружающим, проглядывала умная проницательность гончего пса. Узкие, конвульсивно сжатые губы выражали ненависть, жестокость и хищность пойманного зверя. Он задавал всем короткие вопросы, попадавшие всегда в самую точку, и спустя несколько дней я был уверен, что он знает о нас больше, чем Третий отдел. К Михаилу Степановичу он относился с нескрываемым пренебрежением и неоднократно едва сдерживался от ярости, выслушивая наивные рассказы о несчастном фильме. «Gott, wie gross ist dein Tiergarten» — шепнул он однажды, простирая исхудавшие руки к небу.

С. болен был пеллагрой и лежал в больнице уже два месяца, но я убежден, что если бы не немецко-советский договор и не то, что он не родился в России, а, по крайней мере номинально, считался немецким гражданином, — его уже давно не было бы в живых. Однажды, нагнувшись ко мне, он прошептал мне на ухо: «Через полгода будет война и эти сволочи за все, наконец, расплатятся». Война разразилась немного раньше, но расплатился за нее в первую очередь С. Несмотря на последнюю стадию цинги, 23 июня его выкинули из больницы без медицинского осмотра и вместе с немцами из лагерных контор отправили по этапу в штрафную Вторую Алексеевку. Я видел его возле вахты, когда формировался этап. Он стоял, поддерживаемый двумя волжскими немцами, в драных лохмотьях, кое-как перевязанных шнурками, дрожащий от холода, испуганный и бледный. Ничего не осталось в нем от бывлой самоуверенности и презрительного высокомерия. Пеллагра в последней стадии вызывает не только изменения органические — выпадание волос и зубов, гниение всего тела, — но и изменения психики — депрессию, меланхолию, состояние страха. С. был похож на склееную в спешке и перевязанную тряпками кучу человеческой рухляди. Казалось, что выпусти его товарищи, и он рассыплется на глазах у всех.

А в глазах его, когда-то таких дерзких и холодных, виднелись ужас и мольба. Потом мне рассказывали, что он не дошел даже до Второй Алексеевки. Этап гнали пешком двадцать пять километров, и на десятом километре его оставили в лесу со старым немцем из бухгалтерской конторы и одним конвоиром. Никто их больше никогда не видел, но остальные зека с этапа утверждали впоследствии в Алексеевке, что не прошли они километра, как грохнули два выстрела, эхом отозвавшиеся в лесу.



Были лагеря, в которых врачи пользовались исключительными привилегиями. Не говоря уже о возможности брать взятки за освобождение от работы, у врачей был свободный доступ в больничную кухню и к медикаментам. Каждая женщина в лагере мечтала попасть в больницу, есть немного лучше, а взамен навещать по ночам врача в его дежурке. Каждый урка, нажившись на политических, готов был заплатить сколько угодно за немного спирта из аптечки, за валерьянку для настоек на высушенных хлебных корках, или хлоргидрат, который заменяя гашиш, опий и морфий, вводил лагерных наркоманов в состояние кратковременного оцепенения. В таких лагерях врачи составляли элиту, недостижимую по уровню жизни, по возможностям. (Случалось, что они устраивали даже оргии). Чем лучше была организована мафия врачей, тем больше было причин полагать, что принадлежит к ней — на правах наибольшей доли в добыче — и вольнонаемный врач, сам бывший когда-то заключенным.

Среди вольнонаемных, направленных ГУЛАГ'ом на работу в лагеря, было немало бывших зека. Большинство врачей, инженеров, плановиков и техников сразу же по истечению срока получало или второй срок, или же предложение остаться на неплохо оплачиваемом посту в лагере, с чем связано было, как правило, получение двух-или трехкомнатной квартиры в ближайшем городке. Такой компромисс приносил выгоду обеим сторонам, так что отказы случались редко. После долгих лет, проведенных в лагере, заключенный обыкновенно настолько отвыкал от свободы, что думал о ней с неким страхом, представлял себе жизнь в вечной неуверенности, в окружении следя-

щих за ним друзей и родственников, на вечном подозрении после отбытого срока. Лагерь становился в какой-то мере его второй жизнью, — он знал ее законы, обычаи и правила, знал как избегать опасности и как устроиваться. Годы за проволокой притупляли его воображение, а свобода отождествлялась не столько с родным Киевом или Ленинградом, сколько с открытым пространством за зоной и городком с зажигающимися вечером огнями, с детьми, играющими в снегу. А если, к тому же, некуда было возвращаться, если покинули его в эти тюремные годы близкие — тем легче принималось решение. А лагерь получал хорошего работника, знакомого с жизнью и привычками заключенных, лояльного, ибо прошедшего хорошую школу, прикованного навсегда к старой галере. У НКВД были и другие причины поощрять такие контракты, заключаемые бывшими узниками со своими стражниками. Лагерная инфекция локализовалась в радиусе нескольких десятков километров, создавались кадры опытных доносчиков, лагеря приобретали видимость обыкновенного исправительного заведения, где каждый заключенный имел возможность ежедневно видеть бывших сотоварищей, награжденных свободой за прилежную работу и заслуживших звания полноправного гражданина Советского Союза.

Мы, однако, смотрели на это с другой точки зрения и для нас бывшие заключенные, добровольно работавшие в лагере, были явлением мучительным и трудновыносимым. Благодаря им, лагерь превращался в место, предопределенное судьбой, от которой нет спасения. Нам казалось, что выхода нет, что мы навечно прикованы к месту заключения. Мир угрожающе сузился до пределов горизонта. Мы смотрели на наших бывших товарищей с чувством, которое испытывают, вероятно, верующие, убедившиеся, что потусторонняя жизнь ничем не отличается от земной. Та же юдоль мук, унижений и страданий. Но если бы подошла минута выбора, половина зека, может быть за исключением иностранцев, никогда не мирившихся с мыслью о бесконечной неволе, испугалась бы риска возвращения к прошлому и выбрала бы эту полу- или даже четверть свободу, без перспективы, но и без возможного разочарования. Вопреки ожиданию «бывшие» относились к заключенным еще более сурово и безжалостно, чем обыкновенные вольнонаемные. Была ли этому причиной ненависть к прошлому, или желание добиться преувеличенным ста-

ранием доверия начальства, или же, наконец, долгие годы тюрьмы научили бывших зека жестокости и цинизму — так или иначе, нечего было надеяться на сочувствие тех, кто еще недавно делил с вами тюремные нары. Была, однако, область лагерной жизни, в которой бывшие зека проявляли не только снисходительность, но и бесконечную изобретательность: вместе с бригадами, десятниками, лагерными врачами они пользовались любой возможностью извлечь из своего привилегированного положения материальные выгоды. Все формы взяточничества в лагере опирались на содействие «бывших». «Туфта» при подсчете нормы имела шансы на успех, если десятник был из бывших зека. Срок пребывания в больнице во многом зависел от того, был ли врачом бывший заключенный. А мафия лагерных врачей, — берущих взятки, продающих «уркам» дурманные лекарства, превращающих женские палаты в род гаремов, — действовала тем увереннее, чем больше возможности было опереться на молчаливое разрешение вольнонаемного врача, научившегося в свое время считать лагерь царством беззакония, где властвует сильнейший.

Всего этого, однако, нельзя было сказать о Егорове, нашем враче, закончившем в 1939 году в Круглице восьмилетний срок и получившем место начальника санчасти в Ерцевской больнице. Высокий, худощавый, неразговорчивый, с лицом отвердевшим как кора дерева, Егоров или умел действовать в абсолютной тайне, или же был человеком неподкупным. Он сторонился лагерных врачей, никогда его не видели за едой или выпивкой в зоне, а к больным он относился с суровостью, в которой чувствовалась нотка сердечности. Как только на дороге, ведущей в больницу, появлялась фигура в длинной романовской шубе, бараньей папахе и кожаных, с металлическими застёжками крагах, дежурный врач дрожащими руками приводил в порядок температурные листки, а сестра Евгения Федоровна бледнела от волнения. Поговаривали, что она была единственным звеном, соединяющим Егорова с его тюремным прошлым. Он познакомился с ней еще в Круглице, был ее лагерным мужем и, будто бы, согласился принять должность начальника санчасти лишь при условии перевода Евгении Федоровны в Ерцев. Во всяком случае, Михаил Степанович рассказывал мне, что она пришла этапом из Круглицы, с направлением в нашу больницу, через два месяца после назначения Егорова. Эта связь была чем-то

необыкновенным в лагере, ибо покоилась на настоящей привязанности и даже верности. В принципе, каждый вольнонаемный мог иметь в лагере женщину за пайку хлеба, но невозможно было представить, чтобы кто-либо осмелился или хотел придать этой сделке хотя бы тень чувства. Женщины приходили или уходили, как волны этапов. Оставалась лишь возможность обладания ими без малейшего труда. Молодой лагерный служащий-холостяк не смог бы пересчитать или припомнить всех лиц, промелькнувших в его деревянной каморке в зоне. В этом случае, однако, речь шла о большем — о любви, или же, по крайней мере, ее зачатках. И хотя лагерные власти, зека в зоне и больничные работники не сомневались в сути этой связи, Егоров и Евгения Федоровна вели себя как будто прочность их чувства зависела от сохранения ее в тайне.

Евгения Федоровна приходила иногда вечером к нам в палату и, усевшись на койке старого актера, рассказывала о себе. Наполовину русская, наполовину узбечка, она была женщиной изумительной красоты. Глаза ее прекрасно грустили на маленьком смуглом лице, окаймленном черными, по-старомодному собранными в узел на затылке, волосами. Несмотря на возраст, — не менее тридцати лет, — фигура ее сохранила девичью плавность и очарование. Она была студенткой медицинского университета в Ташкенте, когда в 1936 году ее арестовали за «националистический уклон». В чем заключался этот «уклон», она сама не могла точно объяснить, но я понял из ее смелых замечаний, что очень не по вкусу была ей руссификация Узбекистана, хотя только от матери могла она унаследовать любовь к своей избранной азиатской родине. Ее взгляды были странным смешением европейской прогрессивности и азиатского консерватизма. Она считала себя сторонницей свободной любви, свободы нравов, свободы для супругов в браке. В то же время она защищала традиционное неравноправие женщины в Средней Азии. В своих рассказах она никогда не упоминала имени Егорова, лишь однажды, описывая свои невзгоды в первые месяцы заключения в Круглице, проговорила о том, что изнемогавшую на лесоповале, устроил ее в амбулаторию наш начальник санчасти, в то время также круглицкий заключенный. По тону ее рассказа, я почувствовал, что секрет, в каком держалась ее связь с Егоровым, не был следствием только желания сохранить интимность чувств. Евгения Фе-

доровна ненавидела вольнонаемных и стыдилась, что нарушает лагерную солидарность. В присутствии Егорова она всегда пыталась оставаться равнодушной, но всякий раз, после нескольких часов, проведенных с ним в дежурке Евгения Федоровна входила в нашу палату, пряча блестящие глаза под тяжелыми веками. Похоже было на то, что Егоров любил ее за то, что сам был когда-то зека, и не хотел или не мог этого забыть, а она отвечала его чувству по тем же причинам. «Это не может продолжаться долго, — часто говорил я Михаилу Степановичу, — это унижительно для нее. Егоров навещает ее, как проститутку, а потом возвращается из зоны в другую, свободную жизнь».

Через месяц после выписки я зашел навестить Евгению Федоровну в день, когда Егоров не приходил в зону. Я застал у нее Ярослава Р., студента Ленинградского политехнического института, арестованного в 1934 году в связи с убийством Кирова, освобожденного досрочно в 1936 году, а в 1937 — вновь арестованного. Они сидели на маленькой кушетке, на которой обычно осматривали больных, и глядели друг на друга так, что исчезали все сомнения. Ее голос, всегда такой размеренный и решительный, звучал беспредельной преданностью, а глаза излучали счастье, какого никогда не увидишь на лицах заключенных. Я встречал их потом летними вечерами в зоне. Говорили, что Ярослав на «больничных хлебах» у Евгении Федоровны, но я был убежден, что это любовь. Самая чистая любовь, какую мне довелось видеть в лагере. Не только я, впрочем, Михаил Степанович определил перемену в поведении и внешнем виде нашей медсестры словом «воскресение». Было тут, конечно, преувеличение, но в одном смысле слово это попадало прямо в точку. Воскресением было не столько возвращение к жизни в больничной тишине, сколько — к независимому чувству, притом такое внезапное и полное, что не страшна была даже смерть. Ибо всем было ясно, что одно слово Егорова — и Евгения Федоровна стояла бы завтра на утренней в лесной бригаде. Казалось, однако, что Егоров ничего не видит. Как и раньше, приходил он через день утром в больницу, как и раньше, медленно вечером покидал зону. И хотя ничто меня с ним не связывало, был я в этой тихой драме, — как бы вопреки самому себе или же подчиняясь какому-то предчувствию, — на его стороне. Казалось мне, что он переживал не только уход любимой женщины, но и раз-

рыв с лагерем, к которому странно привязался. Говорили, что на пятом году заключения, бросила его жена. Все, что соединяло его с жизнью теперь, сосредоточилось на дороге, ведущей из Ерцева-города, в огороженный колючей проволокой Ерцев-лагерь. Мог ли он вернуться на свободу, замороженный неволей, привязанный как пес к месту, где провел восемь самых тяжелых лет своей жизни?

В конце лета Ярослав Р. был неожиданно включен в этап, уходивший на Печору. Это означало, что Егоров пытается бороться. Но днем позже Евгения Федоровна пошла проситься на этап. Это означало, что она не собирается сдаваться. Ей, правда, отказали, но вскоре Егоров перестал приходить в зону. Говорили, что он взял расчет и выехал в другой лагерь, но ничего определенного никто не знал. Во всяком случае, мы больше его не видели, а в январе 1942 года Евгения Федоровна умерла во время родов, дав жизнь плоду своей настоящей любви, но заплатив собственной жизнью за свое короткое воскресение.

Густав ГЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ

Берлинский дневник

На берлинский аэродром Тегель я прилетел год тому назад, шестнадцатого мая.

Профессор фон Бомгард, представитель фордовского Фонда разместил меня и чемоданы в автомобиле, красивом, черном, и вез меня через весь город. Еду чемоданом, который выгружают перед каким-то зданием, где-то в парке, лифт, коридор, комната большая с огромным окном, в комнате лестница вверх, а там вторая комната, балкон, кровать, шкаф, распаковка вещей, стол.

Я вышел на балкон: прямоугольные дощечки пятнадцатизэтажных домов среди зелени, город-сад. Я наслаждался пространством после парижской гостиничной клетушки.

Ингеборг Бахманн, поэтесса из Австрии, также приглашенная Фордом и поселившаяся в той же Академии Искусств, была первой с кем я подружился. Мы гуляли, оба несколько изумленные или ошеломленные этим островом (в коммунистическом океане), а может быть, еще чем-то, видели мы немного, почти ничего, я вспоминаю свое удивление берлинским безлюдьем, когда вдалеке появлялся чей-нибудь силуэт, мы кричали «о, человек на горизонте!». В чужих, отдаленных местах начинаешь как-бы с трудом видеть, распознавать... это касается, прежде всего, мест необычайных, экзотических... я помню, когда-то на верхней Паране полный месяц влез мне под самый нос, на расстоянии нескольких шагов, напрасно я щипал себя, свисающий пузырь висел над водой тут же, совсем рядом, и это был месяц, и можно было сколько угодно убеждать себя, что это не так, а все же, это было так... так вот, эта затрудненность восприятия (сопутствующая нам, впрочем,

езде, у себя дома, в комнате), становится особенно незойливой, когда одна или больше ненормальных черт придают месту некий зашифрованный облик. Почему Берлин в первые дни показался мне почти опустевшим городом? Я жил в районе парков, но меня возили и по главным улицам. Не понимаю. Фата моргана. По истечении недели я заметил, что в Берлине, однако, много народу.

После парижской суматохи — блаженный покой, блаженная тишина. Дачная жизнь. Я прохаживаюсь в майском солнце по Тиргартену и жмурю глаза. Никакой спешной работы, не считая нескольких визитов — потом проф. Голлерер вез госпожу Бахманн и меня на озеро Ванзее, где нас снимали. Несколько интервью. Каникулы. Все оставшееся позади — Аргентина, путешествие, Париж — все застыло, заснуло...

И тогда почувствовал я (когда прогуливался по парку Тиргартен) какие-то запахи, смесь трав, воды, камней, коры, не умею сказать, чего... да, Польша, это были польские запахи, как в Малошицах, Бодзехове, детство, да, да, то же самое, это ведь близехонько, за межей, та же природа... которую я оставил четверть века назад. Смерть. Круговорот замкнулся, я вернулся к тем же запахам, значит смерть. Смерть. При разных обстоятельствах встречался я со смертью своей, но во встречах этих всегда какое-то несовпадение давало надежду жизни. Но в Тиргартене я ощутил смерть непосредственно и с того времени она меня не покидает. Не надо было уезжать из Америки. Почему я не понял, что для меня Европа должна быть смертью? Ведь для такого человека, как я, для человека в моем положении, должно быть убийственным всякое приближение к детству и молодости — и хотя потом я не раз «удивлялся», что вещь такая несущественная, как запах, могла вдруг так радикально прикончить для меня жизнь, то все-же с тех пор и все время моего пребывания в Берлине, смерть, как птица, то и дело садилась ко мне на плечо.

В то же время аргентинский — заверченный — период представлял передо мной в мифологическом блеске. Я освежал в памяти, бродя по Тиргартену, тот жуткий момент, когда я, поляк 1939 года, очутился в Аргентине, один, один, на континенте, затерянном в океанах, достающим своим рыбьим хвостом южный полюс, ах, одиночество Аргентины на карте, заблудившаяся в водах, опавшая на дно,

затонувшая в пространстве... Я один, затерявшийся, оторванный, чужой, неизвестный, утонувший. Тогда еще рвали мои барабанные перепонки горячечные вопли европейских громкоговорителей, мучали военные вопли газет, а я уже погружался в незнакомую речь, в жизнь так отдаленную от всего этого. Так называемый жуткий момент. Тишина, как в лесу, слышно даже жужжание мошки, после шума последних лет престранная музыка — и в тишине, заполняющей, переполняющей, начинают доходить до меня два исключительных, единственных, особенных слова: Витольд Гомбрович, Витольд Гомбрович. Я в Аргентину выехал случайно, всего на две недели, если бы по велению судьбы война не разгорелась в течение этих двух недель, я бы вернулся в Польшу — но не скрою, что когда захлопнулся капкан и Аргентина защелкнулась надо мной, было так, как будто я услышал, наконец, самого себя.

Двадцать четыре года этого освобождения от истории. Буэнос-Айрес — шестимиллионный лагерь, иммиграция со всего света, итальянцы, испанцы, поляки, немцы, японцы, венгры, все перемешано, временно, жизнь изо дня в день... А коренные аргентинцы говорили свободно «que roguegia de pais» (свинская страна) и звучала чудесно эта их свобода после удушливой ярости национализмов. В те первые годы наслаждением было ничего не знать об Аргентине, не разбираться в партиях, программах, руководителях, не понимать газет, жить по-туристски. И если эта туристика не обесплодила меня, то лишь потому, что на счастье, привыкнув, будучи человеком пера, иметь дело с формой, я мог предпринять формировку себя самого с новой позиции, в новой ситуации... и не была ли Аргентина моим предназначением тогда, когда ребенком в Польше я делал все возможное, чтобы не маршировать в такт марша на параде?

Благословляю воды огромные, разболтанные в вечности, отделявшие меня от европейской истории! И тут вдруг... возвращение, прыжок в Европу и к тому же в самое больное, залитое кровью истории место. Я догадывался теперь, знал, что не все будет хорошо, и вообще все мое путешествие в Европу с самого первого момента стало чем-то гораздо более опасным, чем я мог предполагать, закрывая в Буэнос-Айресе свои чемоданы. Нечто отчаянное примешалось к моему путешествию. Но кто мог знать, что смерть застанет меня врасплох в Тиргартене.

Выдумка? Громкие слова? Да, выдумка и громкие слова, но из тех, что не выпускают из своих когтей... если уж вцепятся...



Я все еще переживал Париж, думал о Сартре.

Кто из них больше провоцирует — Сартр или вольтеровский Панглосс? Это как если бы дым пожара и крематориев, поднявшись на соответствующую высоту, начертил в воздухе слово «свобода».

Не будем говорить о войнах и лагерях — такое провозглашение свободы было бы провокацией всегда и везде. Внушать нам, что мы свободны, нам, жертвам, мученикам, рабам, по уши погрязшим в болезнях, страстях, похоти, всегда, в ярме, каторжном труде, страхе, нам, загнанным, забитым? Мы живем в самой отвратительной неволе с самого утра до позднего вечера... а тут «свобода»! Кровавую иронию усугубляет то, что наиболее противоречащая нашему ежедневному опыту мысль оказывается совсем неглупой и плодотворной в различных своих воплощениях.

Может ли, однако, философия, исходящая из сознания, иметь много общего с существованием? Ведь сознание, как таковое, индифферентно жизни. Жизнь знает лишь категории приятного и неприятного. Мир существует для нас лишь как возможность боли или наслаждения. Сознание, не являющееся сознанием боли или наслаждения, не имеет для нас значения. Я осознал существование этого дерева — ну и что? Мне от этого ни тепло, ни холодно. Осознанное бытие вовсе не бытие, пока его не познают мои чувства. Не осознанное бытие, а бытие воспринятое чувствами важно. Следовательно, сознание должно быть сознанием чувств, а не непосредственным сознанием бытия.

Но неприятное (а тем самым и приятное) по сути своей противоречит понятию свободы. Сказать, что у нас остается принципиальная возможность свободы по отношению к страданию (свободы, связанной с устремленностью, определяющей нашу систему ценностей, пусть это даже будет свобода «в ситуации»), это значит уничто-

жить смысл этого слова. Страдание это то, чего я не хочу, то, что я должен «выстрадать», здесь основа принуждения, т. е. отсутствие свободы. Трудно найти более яркую противоположность, чем страдание и свобода.

Принимая, что исходная точка экзистенциализма это только чувствительность, я тем самым исключаю возможность всякой экзистенциальной философии, которая по самому своему существу является философией свободы.

Я пишу о Сартре, чтобы оторваться от Берлина. Это ведь ясно — никогда не писать «о Берлине», «о Париже», а только о себе... в Берлине, Париже... не позволю моему перу уйти от темы. Но с тех пор, как выехав из Буэнос Айреса, я познал широкий мир, мне все труднее сосредоточиться на себе, я, аргентинец, испорченный Югом, пропитанный тамошним солнцем и небом, гуляющий теперь под небесами, чьи формы и свет во мне загублены... я углубляюсь в куст или мох, задумавшийся, возбужденный, как принимающий пес... острое северное небо с мчащимися тучами, пространство, время. Ничего над головой, кроме несущейся бесконечности. Я когда-то писал, что после приезда в Аргентину я пережил нечто вроде вторичной молодости, и вот эта вторичная молодость как-то убила во мне ту первую, польскую... все, Бодзехов, Ма-лошице, школьные годы в Варшаве, вступление в литературу, кафе, все это во мне погибло, отпало. И что же теперь? Отыскивать в себе, кроме огромности неба, всю ту заброшенную огромность, тонуть, растворяться и в этом?

Берлин, тем временем, стал во мне вырисовываться городом не таким уж простым...

Не было у меня, само собой, никаких иллюзий относительно моего немецкого языка, — но не думал я, что это так допекает! Дopeкать стало, когда некий сановник пригласил меня на ужин. Соприглашенными оказались люди, знакомые с английским языком, я же свободно вращаюсь в испанском и французском. Время от времени ко мне очень вежливо обращались, но дело кончалось мимикой. Тогда один из гостей взял немецкую «Фердыдурку», лежавшую на полке и начал читать некоторые отрывки.

Это было весьма любезно с его стороны. Но... я слышу, что говорю... мои слова... но ничего не понимаю... Вижу, что говорю и меня понимают, а я не понимаю... Странная раздвоенность, я как бы был лишь телесным воплощением того, написанного Гомбровича — и тогда я по-

чувствовал, что мое существование здесь неполно и.... и... скорее физическое. И это меня испугало. Но не в этом дело, не в этом дело. Ехать ли в Польшу? Вопрос, преследовавший меня уже на пароходе. В Париже уговаривали, поезжай, что тебе в конце-концов, увидишь, сколько у тебя друзей... И стоило подойти к окну, как северное, темное, бурлящее тучами небо начинало напирать, черт возьми, уже моя предыстория напирала отовсюду, краски, походка, посадка в омнибус, шапки, немецкая улыбка, всего лишь межой отделенная от польской улыбки. Ехать? Не ехать? Не в Польшу я бы ехал, а к самому себе, такому, каким был... и этого я слегка боялся. Ничего, что там все перевернуто кверху ногами и неузнаваемо, — я бы себя отыскал. Но я не мог с этим справиться, вырвался у меня из рук весь аргентинский период, когда пароход удалялся от Буэнос-Айреса, слишком я был потерян... Отличный случай, о бумагомаратели, хором возопить: Вот судьба эмигранта и собоюбца! Чепуха. Это судьба каждого человека в определенном возрасте, чья жизнь распалась на две части. Смотреть в этот ветхий колодезь, в котором я увидел бы десятилетнее, шестнадцатилетнее, двадцатилетнее лицо мое, идти на кладбище раскапывать могилу, в которой я лежу... а одновременно приветствовать семью, друзей, обмениваться взглядами, принимать участие в дружеских встречах?

Так размышляя, погруженный в эти страхи (ибо после отъезда из Аргентины мучал меня страх) и с этой смертью, встреченной в Тиргартене, начинал я свою жизнь в Берлине. После двухнедельного житья в Академии Искусств меня перевели в удобную квартиру на Гогенцоллерндам. Я распаковался и устроился. К этому времени я познакомился почти со всеми ведущими писателями и редакторами (в Берлине были тогда сливки немецкого литературного общества), с которыми, увы, не всегда удавалось мне обняться. Гюнтер Грасс, Петер Вейсс, Уве Йонсон, мои собратья по перу, скверно владели французским. Вообще, после четверти века моего отсутствия, Европа показалась мне вавилонским столпотворением. Бывало, десять человек, присутствующих на обеде, говорили на шести разных языках. Аэропланы швыряли людей, я знал таких, у которых было по три квартиры, каждая в другой столице — скажем, Рим, Берлин, Цюрих, — каждая квар-

тира на десять дней в месяце. Эта новая, современная Европа тоже не давалась в руки, слишком разогнавшаяся, слишком скачущая, я держал ее как бомбу, не знал, что с ней делать. Но не в этом дело, не в этом дело. В Западном Берлине, отделенном от восточного знаменитой стеной, немногим больше двух миллионов жителей, а занимает он огромную сравнительно поверхность, ежеминутно удивляющую парками, озерами, лесами, некоторые кварталы так втиснуты меж деревьев, что не знаешь, дома это или лес. Город-курорт, самый удобный из всех известных городов, где машины катят ровно, без пробок, а люди идут ровно — не спеша, где неизвестны почти толчея, духота. Необыкновенная ИДИЛЛИЯ в воздухе; пожилые господа нежно прогуливают своих выхолненных собачек, опрятная дама подливает в окне цветочные горшочки, автомобили учтиво задерживаются на красном свете, с улыбкой разгружает ящики рабочий, кто-то наслаждается пирожным на веранде кафе, отлично выкормленная девица рассматривает витрину... ВЕЖЛИВОСТЬ. В лифтах незнакомые люди обмениваются поклонами и любезностями. Спросишь у прохожего дорогу, а он проводит вас, делая крюк. В разговорах слышен тон, возбуждающий доверие, как будто ложь, ирония, язвительность выгнаны отсюда навсегда. Неизмеримая БЕЗУПРЕЧНОСТЬ проявляется в воротничках, галстуках, пальцах, ногтях, ботинках, в том, как подъезжают такси, как обслуживают клиентов, в жесте чиновника на почте, выбирающего соответственные марки для вашего письма. Глубокая МОРАЛЬНОСТЬ в глазах, но и во всем теле, во всей фигуре от шляпы до каблучков. ДОБРОДУШИЕ, СПОКОЙСТВИЕ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ пронизывает этот город, в котором уровень жизни чуть ли не выше, чем в США. КРАСОТА заглядывает вам неоднократно в глаза, сдержанно северная и сильная. В этом городе, невралгической точке мира, остро-ве и ко всему тому со стеной, почти не видно полиции, можно пройти километры и не встретить никакого мундира... в этом зеленом курорте, в идиллическом Берлине... Но не в этом дело, не в этом дело. Я ужинал в садике ресторана на Фербеллинерплац: тихо, деревья, зонты. Воробушки, не испуганные никогда немцами, садились на мой стол и выклевывали, что могли, из тарелки. Два фонтана, расплавленные огнями всех цветов радуги, посреди шелеста гостей, топота официантов. И время от времени приходил

черед на красный цвет и тогда мне в невинном Берлине не могла не вспомниться кровь и кровь брызгала из безжалостной земли! Но не в этом дело, не в этом дело. Берлин... нет, это не просто, может было бы проще, если бы не бывало у меня — о, Гамлет! — ночных кошмаров. Шесть месяцев спустя, когда я жил на Бартнингале, а завтракал в ресторане на Ганзаплац, со мной приключилось следующее. Напротив меня, несколько столиков дальше, сидел немец, уже пожилой, с дрожащими руками, вероятно пенсионер, с кружкой пива, чуть, может быть, слабоватый умом, но трогательно общительный — он необыкновенно сердечно приветствовал официантов, меня и других гостей, он пользовался каждым случаем чтобы отозваться, махнуть рукой, его одиночество было, наверное, велико... (было ли оно родом отсюда, спрашивал я неисторичный). Ко мне он обращался особенно охотно: — сегодня хорошая погода, не так ли?... (длительное молчание)... какой снег! (пятнадцатиминутный перерыв)... сигарку?... Как-то мы вышли вместе, это было в воскресенье, он сказал, видите ли, в воскресенье отсюда отправляются экскурсионные автобусы, не хотите ли поехать?... Я поблагодарил. Он взглянул, промолчал, в конце концов отозвался, и руки его дрожали, он сказал что-то по-немецки, из чего я понял лишь обрывки, клочья даже: — не ехать... ехать... не доехать... много разного, что могло бы... нельзя, ничего нет, ничего нет, ничего, что вы (was wollen Sie ?)... ganz unmöglich, невозможно, ведь не (das kann nicht sein)... жаль, жаль (schade), ничего (nichts)... nein... aber sehen Sie, mein Herr, das ist vielleicht trotzdem, und gegenüber... Он окончил решительно: — Nichts! И стоял так, какой-то отрицающий, сопротивляющийся, упрямый, непреклонный и неуловимый, категорический, покорившийся, отчаявшийся, неуверенный, мягкий, твердый, драматический, добрый, с чем-то на губах... с жалобой... протестом... отрицанием, может быть пустотой, может быть ничем... а я стоял, не понимая, не улавливая, не отгадывая, я стоял над этими словами, как над кучей разбросанных кубиков... или над дырой, из которой зияло отрицание... И ведь не в этом было дело, не в этом было дело! Так в чем же?! С отъездом из Аргентины я потерял нить, — а здесь, в Берлине, пересекалось слишком много нитей — были дома, улицы, деревья, газоны, асфальт, я стоял во всем этом, он что-то говорит, я не знаю, снова коснулась

меня смерть, моя или их, надо идти домой, улыбка, поклон...



Леди Макбет. Все моют и моют себе руки... (для начала).

Краны. Ванные. Мытье гигиенично... однако.

Длина ног и некоторая блеклость в глазах и затылок и цвет кожи... эгоистичны... (А, скажем, шведы? Норвегия, Голландия?).

Официанты. Балет. Солидность. Никогда не переутомляются. Безупречны. (Немец актером).

Любят ли они маски и игру? (С этой стороны подойти тоже можно, вообще, увы, все можно).

Обособленность. Сотрудничают, т. е. общаются между собой лишь частично, в пределах исполняемых обязанностей. Их одиночество поглощено преобразованием мира и удовлетворением потребностей. Женятся рано. Для того, чтобы использовать женщину, чтобы запрячь ее в работу.

Север, север... Сколько в них от них самих, а сколько просто от севера (англичане? шведы? датчане?). Вот ответ: северные черты усиливаются и преобразуются в их необычайно сомкнутой массе. Преобразуются в конце-концов в крылья. Захватывающее зрелище! (Можно и так. Когда один человек размышляет о десятках миллионов... все можно...).

Немец обреченный на немцев.

Немец обреченный на немцев. В простейшем варианте это значит: кому он может доверять, если не своему инженеру, генералу, мыслителю? Немецкая работа всегда была самая солидная. Немцы, вот народ, где рабочий доверяет элите, а элита относится с доверием к рабочему... Они, правда, проиграли две огромные войны, но держали в страхе весь мир и до своего крушения вожди вели их от победы к победе. Несмотря ни на что, они привыкли к победам: на фабрике, на войне, в решении всякого рода задач... Гитлер, это тоже был, прежде всего, вопрос доверия.

Они не могли себе представить, что это так вульгарно просто и поэтому решили, что это гениально.

Параллель: поляк, сформированный поражениями, немец — победами.

Они не способнее других, просто больше боятся скверной работы, которая им чужда... (лицо электротехника, чинящего провода в лифте, сосредоточенное, полное боли, почти мученическое).

И т. д. и т. п. Можно пойти по линии произвольных, случайных сопоставлений и посмотреть, что выйдет... Например: глаза — глазные ямы, труд как вариант механизма, свести все к еде, соотношение покой-движение, или например, что всегда за ними, когда они идут... (много можно было бы сказать, а польза несомненна — это бы меня уберегло от вечно одинаковых схематических трактовок, в которых они заперты, как в клетке...).

Не спрашивать.

Не читать ни книг, ни газет.

Не глядеть на стены.

Ничем особенно не интересоваться.

Сидеть в кафе и пялить глаза на улицу...

(Записи, сделанные в кафе на Курфюрстендам, когда я ждал Зузанну Фельс).



Нет, я не пишу о Берлине, я пишу о себе — на этот раз в Берлине — у меня нет права писать о чем-либо другом. Не уходи от своей темы!

Я познакомился с другими художниками, приглашенными, как и я Фордовским Фондом. Я сшил себе несколько изысканных костюмов. Отдельвал мой дневник, главы о путешествии из Аргентины и пребывании в Париже. То и дело обрушивались на меня приглашения: концерты, выставки, коллокви.

Мне кажется, однако, это То — прошлое 25-летней давности — больше всего не давало мне спать... или же усыпляло... Идиллия совмещалась с чем-то чудовищным, о чем неизвестно было, вчерашнее это или сегодняшнее — ибо, в конце-концов, сегодня вытекает из вчера. Берлинские собаки, например, безукоризненны, все как одна, а все же я, может быть, увидел где-то блуждающих вдалеке, совершенно чудовищных псов. Иногда в разговоре слы-

шалось не менее чудовищное слово, также распростертое между сегодня и вчера — снилось ли мне, к примеру, (эта путаница во времени нагоняет сон), что кто-то мне говорил: «вы знаете, недалеко отсюда есть больница, в которой навсегда заключены изуродованные люди, слишком ужасные для того, чтобы их показать даже ближайшей семье. Родным сказали, что они погибли». Говорят: — вон там, за стеной, был бункер Гитлера (был или есть? Ведь он есть, хотя бы как бывший бункер). Говорят: — ах, война, это было страшное время. Или: — я одна с войны, муж и сын погибли. Меня повезли в тюрьму, показали обыкновенную светлую комнату с железными кольцами под потолком, на которых вешали тех, кто боролся с Гитлером, — а может не вешали, а душили (я не очень хорошо понимал, иногда даже недослышал, как это бывает в горах, на больших реках, там, где природа превращается в фантастику). И опять: это «было» или «еще есть»... хотя не совсем, уже источено Временем. Случалось мне, наверное, видеть на улицах этого такого приличного, такого морального города не только чудовищных собак, но и людей-чудовищ, кто мог поручиться, что правая нога вот этого господина среднего возраста не давила тогда чьего-то горла. Их удивительная сила в преодолении прошлого приводит к тому, что иногда трудно поверить... В этом городе тоскливый вой идиотского, кошмарного пса сочетается с огромной волей к нормальности.

Место преступления или добродетели? У меня, человека из Аргентины, антиисторического, пожалуй, и непривыкшего, все время была впечатление, что Берлин, как леди Макбет, без передышки моет свои руки... В этих условиях решающее значение приобретало вступающее в жизнь поколение, эта громадная волна, обновляющая и очищающая, как бы начинающаяся все с самого начала. Но эта немецкая молодежь от меня ускользала, так как хромающие диалоги немного по-немецки, немного по-французски, не допускали настоящей близости. Из всех встреч с молодежью я помню лучше всего празднование Нового 1964 года, в ателье одного молодого художника, куда я попал с помощью моего греческого друга Крестоса Иоахимидеса. Когда я вошел в полутемное, с антресолями ателье и увидел северную молодежь, возлежащую на диванах, стоящую по углам, сразу же внимание мое привлекла их прикованность к собственным рукам, руки были сильнее всего, это

руки, толпясь или расходясь, заполняли комнату, здоровые, большие, чистые, с аккуратно обрезанными ногтями, цивилизовавшиеся. А головы сопровождали руки, как тучи сопровождают землю (это не было открытием, уже Роби Сантуко в Аргентине вот так свалился, сбивался к собственным рукам).

Преступные руки? Вовсе нет, совсем ведь новые, невинные... Новые и не похожие, а все таки те же самые... Какая же разница? Непохожие глаза, волосы, рты, не та же улыбка? Золотистоголубой блондин приветливо подал мне стакан виски, но рука эта протянулась ко мне **оттуда, оттуда** смотрели на меня глаза... Еще кто-то положил мне руку на плечо — по-братски, но братство — тоже оттуда — было смертью... дружеской, а может быть враждебной, не знаю... И в тот же миг прекрасная девушка смешно пожала плечами, говорили про любовь, любовь, да, но ведь **то** было тоже любовью, лес, лес рук, вытянутых вперед хищнопобедным, любовным жестом, *heil*, создающие руки! Глупости! Прочь! Призраки! Они такие европейские (такой Европы я не встречал в Париже), покойные и непринужденные, ни капли шовинизма или национализма, широкий на весь мир кругозор, да, это была самая современная молодежь, какую я когда-либо видел. Они даже не отрицали прошлого, в полумраке было видно, что **то** не было их делом, они были другими и новыми. Оторваться! «Пойдем, пойдемте, зачем тебе этот их Ахиллес!» Поколение как бы никем не рожденное, без родителей, без прошлого, в пустоте — лишь все еще прикованное к собственным рукам — эти руки, правда, уже не убивали, а занимались чертежами, расчетами, производством, продукцией. И все богатые... престранные куртки, невиданные часы... их машины стояли на улице...

Итак, комфорт высокоцивилизованных мальчиков, в самом сердце Европы... а тем не менее убийственные ассоциации все время взрывались в моем мозгу. Для того, чтобы заполнить пробелы моего бляющего немецкого, я процитировал Гете «*Hier ist der Hund begraben*» и сразу же замаячила передо мной зарытая собака, нет, не собака, а какой-то их ровесник, точно такой же, который ведь мог где-то здесь, недалеко отсюда, лежать под каналом, под домами, где в последней схватке молодая смерть была повсюду. Скелет этот был где-то поблизости. И тогда я взглянул на стену и увидел высоко, почти под потолком вби-

тый в стену крюк, в голую стену вбитый одиноко, трагично, ничего нет страшнее этого крюка, там, вбитый в стену, крюк высоко, вбитый, в голую стену. Могла ли роскошная и европейская, оторванная и самостоятельно существующая молодежь догадываться, что бродит в моей голове? Я знал, что они не хотят быть по отношению ко мне «немцами», так же, как я не хочу с ними быть «по-ляком», — а может быть, кто знает, они уже вообще не хотели быть немцами, сброшенные в свет, начинающие сначала, жаждущие новых горизонтов. И все-таки крюк торчал в стене! Виски. Вино. Бутерброды, пирожные, фрукты. Разговоры и флирты. Говорили всегда о **другом**, Брехт, Грасс учеба, путешествия, Лессинг. По мере того, как приближалась полночь, росло мое любопытство... Что они сделают со Временем? Что сделают с Новым Годом? Что сделают с минутой, в которую врываются Прошлое и Будущее? И что же? Пробило двенадцать, выстрелили пробки от шампанского, и улыбками, поздравлениями, объятиями они затушевывали опасный момент. Ты едешь в Грецию? Видели ли вы выставку Бенрата? Пирс Рид в Англии. Вот увидишь, через год я буду уже «Фрау». Этот Новый Год в Берлине оказался идеально спокойным, мещанским, без Времени, по сути дела, и без Истории.

Итак, они были частными лицами. И я, всегда стремившийся быть в жизни частным лицом, не мог не одобрить этого. Граждане мира. Европейцы. Только этот крюк, вбитый, вбитый... только тот братский скелет, смерть здесь рядом... и только руки, это неуловимое преобладание рук... Я глотнул еще одну стопку виски! Там, тогда, на любовно смертельных парадах извлекли из этой молодежи руки, выдвинули вперед, ах, лес опережающих и ведущих вперед рук... они шли со своими руками... а здесь, теперь, руки были спокойные, незанятые, личные, и все таки, и тем не менее я вновь увидел их прикованных к рукам, сброшенных в руки.



Немецкие руки в Берлине... уже давно я к ним искоса присматриваюсь... эти руки беспокоят, ибо они более эффективны, более серьезны, чем у других, я бы сказал, что

всякая немецкая работа воплощается лучше других... Но совершенная пустота, смертельная тишина этих рук предстали передо мной в своей очевидности только тогда, на приеме у этих осиротевших юношей, в этом городе, отстроенном на руинах, без своего облика, городе-острове... временном острове... Никто из них не знал, за что зацепиться. Слишком была скомпрометирована великая традиция Германии Гете тем, что настало после нее. Лозунги новой Европы еще недостаточно сильны. Впрочем, они боялись — теперь — лозунгов, программ, идеологии, ба, даже моральности, этой скрупулезной немецкой моральности, которая привела к дьявольским срывам. Что же остается? Работа. И я знал, что у каждого из них есть какая-нибудь работа, что-то осязаемое, экзамены, бюро, мастерская, может быть, живопись, литература, производства, продукция, техника, они производили, преобразовали, и это определяло пока их смысл, функцию, роль... в пустоте и тишине рук... в этом ненастоящем Берлине. Немецкую молодежь я ощутил как удар кулаком в окружающий мир для того, чтобы познать себя самое, это преобразование мира в поисках собственного «я». Но сколько раз немцы вот так били тараном в мир, чтобы раскрыть эту тайну. Повторяю — то, что подавляет в общении с ними, это сознание игры всерьез: вот отнюдь не вторичный народ, он идет в первом ряду и поэтому движется вслепую, он не подражает, а творит, девственнопервобытный, потому что вступает на первобытные земли. Здесь не знают, кем будут, не знают даже, чем можно или нельзя быть. О, их экзотизм, их герметичная замкнутость (даже тогда и прежде всего тогда, когда они раскрываются), их собственное невыразимое содержание, их самообладание, больше похожее на сумасшествие, это человечество, служащее вступлением к какому-то будущему, неизвестному человечеству, их «функциональность», благодаря которой пятеро немцев становятся одним, способным на все самое непредвиденное, целым... это не так просто... Стой! Остановись! Сгинь, пропади! Ведь руки этих юношей были совершенно спокойны, личные руки, чего они хотели? Машину, жену и детей, повышения по службе... затем и работали... хотели прожить жизнь как можно приличнее, вот и все. Крюк? Труп здесь поблизости? Лес рук? Это только мой к ним комментарий.

И действительно, неизвестно, чего держаться: я ни-

когда не встречал более гуманной и универсальной молодежи, более демократичной, честной, подлинно невинной... спокойной... Но... с руками!



Странно и прекрасно: эти спокойные головы, рассудительные глаза, пунктуальность, спокойствие, хорошее настроение... и в то же время все это летит в будущее, бешено мчится, Немец — раб немцев. Немец покорен немцами. Немца усиливают, толкают, разгоняют, окрыляют немцы. Но происходит все это спокойно.

В сумраке я видел их отношение друг к другу, они стояли боком или прямо, составляли немецкую массу и я знал, что там — «между собой» они, пожалуй, безжалостны... а может, всего лишь беззащитны...

Производство! Техника! Наука! Если Гитлер стал проклятием прошлого поколения, то как легко наука может стать катастрофой для немецкой молодежи. Наука, объединяющая их в абстрактном мире, в технике, может слезать из них все...

В состоянии ли были эти мальчики обнаружить и понять собственную драму? Ведь ее нет в их распорядке дня.



Представим себе, что я спрошу у одного из них, любит ли он варенье. Он ответит положительно. Но если бы он ответил отрицательно, было бы то же самое... Ибо его потребности, вкусы, наклонности — результат его зависимости от других немцев, равнодействующая той фигуры, которую они все вместе в данное время составляют. Между собой они меняют свой вкус...

Когда на рассвете я вышел на морозную улицу, берлинский Новый Год угасал, возвращались переполненные людьми и весельем машины. Спокойствие и сон уже возвращались в этот город... полный бумажников, часов, колец, первоклассных свитеров... с утраченным прошлым и будущим.

Но уже видно было, что с утра город начнет рабо-

тать в удвоенном, изо дня в день ускоряющемся темпе; и работа эта была солидной, нормальной, как будто ничего не произошло, дающей все лучшие результаты... здоровой... Улицы удобные, с уставленными в шеренги деревьями, дома крепкие, упитанные, спокойные... Берлин производит впечатление некоего марширующего размеренно и уверенно пешехода, не знающего, куда он идет. Что они **сделают?** — спрашивал я сам себя, а слово «сделать» звучало одновременно и как «сделать что-то» (произвести) и «сделать с собой». Эх, пришелец из пампы, не слишком ли твои суждения поспешны и опрометчивы? Ведь это вся Европа, с момента моего прибытия в Канн, показалась мне ослепленной работой... я не встретил никого, кто не был бы обязанностью, колесиком в механизме, все жизни зависели от других и друг от друга, а гениальность — покоряющая, неистовая — покидала человека и превращалась в непонятную вибрацию мчащихся людских масс. Гете? Вместо Гете — мастодонты заводов, не менее творческих. А Берлин, висящий в пустоте, обреченный на собственные вибрации, в лучшем случае, пошел в этом направлении одним шагом дальше...

За все время моего пребывания в Берлине не встретился мне ни один Гете, Гегель, Бетховен, даже отдаленно ничто их не напоминало. Предостаточно, наверное, больших технических талантов, но гениальность — духовная — высачивается из людей в продукт, в машину, она играет в шесте приводных ремней, люди там гениальны... вне себя...

Их здоровье! Их равновесие! Их благосостояние! Ах, как часто меня это просто смешило, какое остроумие, какая историческая шалость в том, что как раз здесь, в самом центре катастроф, людишки живут себе удобнее всего, зарабатывают больше всех. Какая комедия в том, что из-под стольких зажигательных и осколочных бомб выбрались наверх люди — как ни в чем не бывало, румяные да к тому же с несессерами, ванными... Возмутительно! Где же справедливость... обыкновенная порядочность!

Хорошо было бы все же понять, и запомнить, что этот аскетический и религиозный (даже тогда, когда Бога нет) народ раздваивается на два смысла. на две действительности. Чемоданы, несессеры, электрические бритвы — да, это их балует и щекочет — но в то же время все это их поднимает и увлекает. Куда? К чему? Вопрос не легкий

и не пустячный. Во всяком случае, хорошо было бы помнить, что роскошь бывает для них жертвой, мелкобуржуазный покой — ожесточенным напряжением, что когда в снежносолнечный полдень они тихо останавливаются перед своими витринами, раздумывая, чем бы еще себя ублажить, как раз тогда где-то в их горах, в их пустынях рождаются стремления, лавины и в упорном, тяжком труде, в грохоте и треске, в шуме всех шестерней они делают новый шаг в Неизвестное.



Хочу писать как можно дальше от политики...

Что глупо, пожалуй, поскольку молниеносное экономическое возрождение Федеральной Республики Германии повлияло на всю Западную Европу и стало и т. д. и т. п. Известно. И снег идет, пеленающая белизна, о которой я почти забыл, тишина белизны, мягкость обволакивающей белизны... Сон. Сон. Вместо того, чтобы быть здесь зорким наблюдателем, я предпочитаю рассказывать мои сны, мне хочется спать, мое бодрствование тоже род сна, иногда, как бы просыпаясь, я начинаю говорить вразумительнее, но сразу же падает мне на лоб одна, другая усыпляющая снежинка... Я уснул, выехав из Аргентины и до сих пор не пробудился. Снег. Сон. Если это должны быть мои наблюдения, то пусть уж будут как можно больше проникнуты сном.



Макс Гольцер, поэт, со мной в кафе Цунца, столик, за окном бодрая белизна и сонные неоновые рекламы Курфюрстендама, он жалуется, он говорит, эх, к черту, куда запропастился наш гений, к черту, столько у нас было людей в философии, в искусстве, людей которые вообще ничего не извоили замечать, кроме вопросов бытия, самых значительных, самых основных, а сегодня, я вас спрашиваю, куда девалась раса тех гигантов, тех *grands seigneurs*. Наша литература все время пережевывает войну и Гитле-

ра, все время лишь сводит счеты демократии с диктатурой, к этому свелась вся наша гениальность...

Сумерки и автомобили, белизна и автомобили. Гольцер — раздосадованный потомок Гете. Он говорит: Гитлер, да, Гитлер, Гитлер все время заслоняет панораму, то сужение, то ограничение, это та красная тряпка, в которую бьет рогами немецкий бык... Я согласен с Гольцером, я думаю, что гениальность, все время присутствующая в величайших — бывших — достижениях тех господ с пьедесталов, тех *grands seigneurs* германского духа, с его ни с чем несравнимым размахом, сегодня она раздражает, мучает, унижает... *Göttliche Funke*, ба, конечно, но как быть гениальным, когда есть столько дел, телефон, радио, печать, обслуживание и производство, день за днем производство, в котором они все, как мухи в паутине... Они как жертвы какого-то непрерывного окружения... в Берлине торопливом, временном, в котором стоит стена, в котором разгромлено прошлое, будущее... на этом острове — бывшей столице... Это ликвидированное место требует какого-то новшества в огромном масштабе, величины немецкого идеализма, немецкой музыки, но ничего — кроме телефонов, деятельности, автомобилей, бюро и работы, и только растущая, всеохватывающая паучья сеть. Часто в семь утра меня будила канонада, со своего пятнадцатого этажа я видел, как в облаках на красной стороне лопались зенитные снаряды, видел стену, и американские вертолеты и английских солдат; вдруг росло напряжение — снова застрелили безрассудного храбреца, который мчался сквозь пустоту, отделяющую стену от западных сторожевых постов. Значит, все-таки История? Нет, это не опасно в Берлине, опасно течение повседневных занятий, демоничны здесь обыкновенность и мелочи.

Но что же с этой гениальностью? Я спросил про Гейдегера.

Ответ...

— Влияние его невелико, ограничивается профессорами, ему еще не простили довоенных связей с нацизмом. Значит, политика.

Много движений, много деятельности обступало нас в этом кафе, где все было, как и везде. Только немецкое движение и немецкая деятельность как будто бы из железа. Кто-то ел ветчину. Официантки. Вошло человек две-

надцать, движение оживилось, составили несколько столиков.

— А это... кто это?

— Специалисты.

— По какой специальности?

— Не знаю.

— Ну, ладно, а что делает вон тот труп, тот молодой скелет, который с ними сидит?

— Труп?

— Ну да, как раз заказывает джин с содовой водой.

Гольцер не был совсем уверен, спросил из учтивости «какой труп?», но в конце-концов отчасти со мной согласился. — Если бы и сидел с ними какой-нибудь труп — разъясняя он трудолюбиво, — то следует принять во внимание, что они как специалисты тоже не совсем здесь присутствуют, можно было бы даже сказать, что они отсутствуют, ибо, по сути дела, специалист по-настоящему существует только в своей специальности, так что их отсутствие сглаживает некоторым образом присутствие трупа, который, можно бы выразиться, есть с ними и его нет. Он говорил медленно и с некоторой сдержанностью или колебанием, я оглядел зал, и должен был про себя признать, что, правду говоря, все здесь и присутствуют... и отсутствуют... ибо сидя здесь над чашкой кофе, они были в то же время где-то в другом месте, каждый по своей специальности, в своем бюро. Однако в Берлине эта неполнота существования (отсюда миражи, фата морганы, извращения и другие злоупотребления), которую я встречал столько раз в Польше, в Аргентине, несла в себе всю серьезность немецкой техники и немецкой работы, — стинь, исчезни, — возможно, их и не было в действительности, но они придавали действительность окружающему... таким образом, они реальны в своем воздействии, а нереальны в своем существовании? Кто его знает. А может, не в этом дело?..

— Ого, — сказал Гольцер, — а вот и Голлерер, ищет нас...

— А вы уверены, — спросил я, — что Голлерер действительно вошел и что он здесь и нас ищет?

— Конечно, — ответил он немного раздраженно, — вы же видите, и кроме того, вы прекрасно знаете, что он должен нас взять с собой на «*Lesung*» в университет.

Действительно... Голлерер вошел, Голлерер-профессор, специалист, теоретик искусства, главный организатор культурной жизни, редактор важного квартальника «Akzente» и еще какого-то очень специального издания, посвященного, насколько я знаю, весьма специфическим экспериментальным исследованиям, касающимся некоторых подсознательных механизмов речи! Со стороны автора всегда неприлично, когда он вводит реальных людей в текст полуреальный, вроде настоящего, — даже если он обсыпает этих людей горячими похвалами, — а это потому, что автор может с ними выделять все, что ему вздумается, как Господь Бог, а они, не имея возможности протестовать, превращаются в его творения. Я, однако, надеюсь, что мои берлинские друзья, Гольцер, Голлерер и другие, простят мне это неприличие (в данном случае еще более грубое, поскольку я был гостем города и гостем Фордовского Фонда), следуя принципу, что тот, кто знает, что не следует есть рыбу ножом, может есть рыбу ножом. Короче говоря, Голлерер выпил с нами рюмку, а потом действительно усадил нас в автомобиль и отвез на «Lesung» в квартал, мне еще неизвестный, какой-то сад, в саду дома и деревья, везде комфорт, все свободное пространство в парке занимали машины студентов, мы вошли в большой зал, уселись на кафедре, Голлерер — председатель, Гольцер, господин Берлеви, госпожа Ингрид Вейкерт, Клаус Фолькер, перед нами ряды стульев, на стульях студенты, прилежные, спокойные головы, аплодисменты. — В чем дело? — спросил я, так как слово «Lesung» было мне непонятно.

— Ничего особенного. Вы прочитаете по-немецки несколько отрывков из ваших книг.

— Но мое произношение...

— Не беспокойтесь. Это не имеет значения.

— Но я не буду ничего понимать... и они тоже...

— Все равно. Вы иностранный писатель, пребывающий в Берлине, с нашей стороны это акт вежливости по отношению к вам, а кроме того, это весьма желательно с точки зрения международного культурного сосуществования, не говоря уже о том, что это обогатит и оживит учебную программу. После этого Гольцер прочтет несколько своих стихотворений и будет дискуссия.

Я быстро подумал о положении, в котором я вместе с Голлерером оказался. Он принадлежал к людям, вызывающим доверие, я не сомневался, что профессор он был выдающийся, организатор — прекрасный, немецкая даровитость проглядывала в его глазах, движениях, словах... я знал, что очутился в ловких, умелых и опытных руках. Но еще одна черта характеризовала Голлерера — он был настолько же студентом, насколько профессором, у него была — это бросалось в глаза — веселая душа бурша, приближаясь к дому, в котором собирались гости с участием Голлерера, уже издали вы могли слышать его громкий студенческий смех. Я ждал теперь его освобождающего смеха — ведь само собой разумеется, что он не мог отнестись всерьез к моей ситуации, здесь перед студентами, перед Lesung, он отлично сознавал всю бессмысленность этого начинания... Но следуя этому, типично немецкому, распределению ролей, он перед своими студентами потерял студента в себе самом, стал только профессором и восседал на кафедре, готовый открыть сессию. Поймите, прошу вас, мое положение. Я был у предела... не столько, пожалуй, сил, сколько действительности... Со времени отъезда из Аргентины Европа всасывала меня, как всасывает пустота. Затерянный в странах, городах, толпах, я был как путешественник, поглощаемый горными перспективами. Достигнув города-острова, города-химеры, я почувствовал собственную смерть в польских запахах Тиргартена. Внутренне ослабленный этой смертью, я должен был бороться с тайной смертью города, который дал смерть и принял смерть. И насколько была здесь затруднена вся моя жизнь, тогда, когда я пытался выстонать себя в кафе Цунца, дать что-то из самого себя на международных и разноязычных приемах и ужинах, когда я пробовал прорваться сквозь причудливые туманы и испарения этого странного края, этого театра, закутанного как гора облаками, со своей еще неразгаданной правдой, с еще нерасшифрованным иероглифом. И в то же время и как бы назло действительность Берлина, действительность каждой сцены, каждой ситуации становилась все более и более солидной — ах, это их способность все претворять в реальность, опираясь на небытие! Возьмем, к примеру, сцену, которая происходила теперь: что тут говорить, Lesung пройдет самым добросо-

вестным образом, все, начиная с окон и дверных ручек, а кончая студенческими головами, свидетельствовало о хорошей работе, ах, студенческие головы, прилежные, разумные, спокойные, ах, их тела здоровые, крепкие, с блокнотиками для конспектов и ох, Голлерер на возвышении, как капельмейстер! Единственной моей надеждой, как я уже сказал, был его смех и я, Фердыдурка, на краю моего путешествия, мог рассчитывать только на его смех бурша, смех студенческий, свободный, всесокрушающий! Но куда там! Роли были распределены. Ситуация была организована, расколота на студентов и профессора. Голлерер сохранял серьезность и приступил к открытию, он меня представляет, я кланяюсь, аплодисменты, он подает мне обведенную карандашом страницу моей Фердыдурки, просит прочитать, я отказываюсь

отказываюсь

отказываюсь

короткое смятение, минутное заторможение, наконец, по приглашению Голлерера, Клаус Фолькер читает

я слушаю и не слушаю

я сижу и существую, но меня нет

чтение

все идет хорошо

есть ли я?

Есть ли они?

Я, как будто, слушаю

а где-то там, вверху, был крюк, вбитый, вбитый, вбитый в стену, но ведь наверное не в эту, наверное в ту, и этот крюк был, но может быть не здесь, там, как трудно знать что-либо в горах, в облаке, в тумане

в то время как здесь, внизу, все шло так хорошо, с такой жуткой верой в реальность того, что они делают, что я умираю

конец, аплодисменты, я улыбаюсь, ничтожество моей улыбки меня уничтожает

тогда Гольцер начинает читать свои стихи, читает, аплодисменты, улыбается, садится

Голлерер, Берлеви, Гольцер, Клаус Фолькер открывают дискуссию, дискуссия

дискуссия

Голлерер говорил в качестве профессора в рамках Обязанности. Берлеви — в качестве поляка и довоенного варшавского футуриста и художника, готовящего выставку

и гостя, приглашенного Голлерером. Гольцер — как поэт и как принимающий участие... Фолькер — как молодой литератор.

Нельзя сказать, чтобы меня приводила в ужас, например, бригада из пяти немцев и машин, сооружающая дом. Правда, эта упорная, хотя и такая спокойненькая, добродушная страсть к претворению в реальность может беспокоить... Но гораздо ужаснее видеть их воплощающихся в действительность в чем-то химерическом, в Культуре... Я знал, что Берлин, организуя свою духовную и интеллектуальную жизнь, полон сессий, съездов, слетов, выставок, лекций, семинаров и пр. и пр., все это — функционально, все сделано так, как будто никто никогда не мог усомниться в этой работе... долго можно говорить, если бы я хотел рассказать о том, что видел, с чем встретился, прежде всего — кошмарная лояльность немца, работающего в Культуре, лояльность тем более удивительная, что сочетается она с самым пронзительным скептицизмом... Вот Голлерер... ведь он знал не хуже меня, что здесь нереальность становится реальностью... и он действовал не колеблясь, функционировал, подобно актерам, которые мечом наносят изо всех сил удары, реальные только со стороны того, кто их наносит, нереальные в своих последствиях, какие-то половинчатые, частичные созидания... Я все еще ожидал, что профессор взорвется необузданным, студенческим смехом, который просто ликвидирует сессию, уничтожит ее, разрушит, однако Голлерер, по неизвестным мне, а по всей вероятности чисто немецким причинам, ни на секунду не терял своей серьезности.

А мое существование было уже слишком подорвано, я должен был защищаться, я не хотел умирать, и я решил тогда подать признак жизни, но как, что делать, дискуссия все продолжается... и внезапно я, со своим невразумительным немецким лепетом, попросил голоса, ворвался в дискуссию, стал вести речь.

Я говорю в переполненный зал, они слушают. Нахальное ничтожество моего бормотания сразу стало непостижимым, я потерял нить, я нанизывал случайные слова, только бы говорить, только бы доплыть до конца, слова крутили, швыряли мной из стороны в сторону, развинченный, шатающийся, цепляющийся за слова, пьяница, сумасшедший, дурак, непонятный ни им, ни себе, я говорил, говорил, говорил и жестикулировал тем несдержанней, чем

меньше было во мне смысла, понимания, содержания. И вижу, к собственному ужасу, что весь зал под предводительством невозмутимого Голлерера меня слушает! Да, прилежные, спокойные, невозмутимые головы студентов, слушающие меня, я бы сказал, непреклонно, и моя анархия окунается в их спокойно напряженную волю порядка, смысла, организации. Бессмыслица понимается как смысл! Безумие, моментально преобразовываемое в нечто подчиненное норме, в нечто **нормальное**. Готовы ли они были принять все сумасшествие мира и переделывать его все вместе... так поглощенные собой, так замкнутые в себе, что не существовало неистовство, способное их смутить? Берлеви?

Я почувствовал, что не могу больше обращаться к этой немецкой скале. Но здесь, чуть подальше сидел г-н Берлеви, он ведь варшавянин, довоенный футурист из кафе «Земянска», из кафе Лурса, ба, земляк, посвободнее, как щель в этой беспощадной однородности, как приоткрытая дверь, как некая смягченность... туда я мог бы улизнуть...

Я обратился прямо к нему и страстно в чем-то упрекал, я резко надел на него, ввязался в какую-то страшную абсурдную полемику за пределами всякого смысла, все это исчезало в нем, как в подушке, постепенно обе наши головы погрузились в сон, первый заснул Берлеви, я сразу же после него, почти как после водки, в кабаке, где болтают лишь бы болтать в сладком дурмане, все равно, еще стопочку, наплевать, который час, еще по одной!.. И еще! Ибо, внимание, только доподкожная цветизация агломерации понятой антропоидально налеп пропей пей что уже три часа пошли одну минутку сюрреализм социологии эта бутылка катушка давай еще ас-с-си-ми-ли-ро-вать эеее беее шнапс шнапс шнапс.

Увы! Мы оба с Берлеви опьянели до потери сознания.

Тем временем раздалась аплодисменты, студенты вставали, Голлерер в короткой речи поблагодарил Гольцера и меня. Lesung окончился. Я встал, поблагодарил поклоном и пошел к выходу, но этой мой выход стал как-то оттягиваться, я выходил и выходил и не мог выйти, я хотел закричать и не мог, решил уже кому-нибудь жаловаться, как же это так, выхожу и выхожу и выйти не могу, но уже никого не было, странно, — подумал я, — что это за город, в котором действия растягиваются как резиновые, как западня. Тут увидел я Голлерера, он стоял у стены, держал

свою улыбку подмышкой, как портфель... и был он какой-то иной. Я всмотрелся... он был тяжелый... тяжелее всего, что я мог себе представить, как бы сделанный из вещества тех мертвых, концентрированных звезд, которые как ядра затеряны в черных закоулках космоса, я подумал, что такое, почему он такой, что с ним случилось?... А он стоял и тяжелел, выдерживая собственную тяжесть... тяжелел... Подальше стоял сенатор Арндт, всегда очень мне благожелательный, вернее, это был какой-то его вариант, так сильно отдаленный от него самого, что, по правде говоря, это был он и не он... Я подумал, как это, однако, они умеют так далеко от себя отойти, так далеко, и земля провалилась под моими ногами; в иступлении гордости, с размахом могущества, я очутился где-то в солнечной системе и подумал оооо, что это, несколько огненных масс пролетело бешено и пошлоооо, послышались плач, отчаяние, стенания. Неужели, подумал я, неужели, вот как с ними надо осторожно, ясно, что это не земная раса, им, кажется, земли недостаточно, ни земли, ни человека, у них стремления пошире... Рыдания, Отчаяние. Скорбь. Тут увидел я симпатичную и молодую фрейляйн Курпирс, но в телескоп и где-то в непостижимой дали, а она тоже смотрела на меня в телескоп и плакала в телескоп и говорила, ах, поймите нашу боль и нашу муку, мы все время должны идти и идти и отдаляться друг от друга и покидать друг друга в пространстве, которое не кончается, в пространстве неземном, которое вне... Хватит. Не буду продолжать эти метафоры, видения и т. д. Хватит. Возможно, что это и скучно. Мне в конце-концов удалось высвободиться оттуда и вернуться в мою чудесную квартиру на Бартнингаллее, напротив Академии Искусств. Я бросился одетый в постель и заснул.



N. рассказывал мне (и не только он) об американизации Берлина. Он говорил: — После этой катастрофы мы очень нуждались в Америке... и скорее в ее духе, чем военной силе или долларах. Америка прошла по нас, как каток, выравнивая, демократизируя, упрощая. Мы ликвидировали остатки наших башенок с гордо развевающимися

знаменами, всю метафизику, весь романтизм, туманы, облака высокие, но зато мы коснулись ногами земли и нам объявилась конкретность обыкновенной жизни и обыкновенного действия.

Я ни словом не упомянул о моих приключениях... вроде вышеописанного... которые доказывали бы, пожалуй, что действительность в Берлине не так уж устойчива и ясна... Конечно, на поверхности все, еще раз повторяю, солидно... но есть подвалы и в этих подвалах действительность попадает им в руки как лабораторный кролик, как обрабатываемая резина, и ее превращают, можно сказать, в нечто изготовленное, как всякий другой продукт...

Эва Бехман говорила мне: — Ничто так не успокаивает после Парижа, как вид берлинца, пьющего в летний день кофе на веранде кафе. Он и его кофе — некий абсолют. Это правда. Но... действительно ли они люди? Да, они люди — очень человеческие к тому же, — в то же время они люди в каком-то смысле неограниченные, почти уже не люди, а существа, для которых человеческая форма — случайная и преходящая фаза. Я не особенно бы доверял американизации Берлина.

Вовсе меня не успокаивает то, что в этом поколении раса, *grands seigneurs* совершающих головоломные скачки в Пропать Бытия, угасла. Наоборот. То, что Гегель спокойно спит на кладбище в восточном Берлине, не дает никаких гарантий относительно абсолюта кофе, пирожных или, например, мужского и дамского платья. Если бы я был в Берлине пирожным или кофе, я бы себя слишком уверенно не чувствовал.

Их метафизическое беспокойство не находит уже выхода в сознании гениальных единиц и блуждает одиноко, как изгнанное привидение, ища как бы выразить себя в людских сочетаниях, в комбинациях коллективной жизни,

в формах, стоящих над единицами. А вдруг это самое важное для наступающей новой Европы?

Огромное увеличение количества человеческих существ может способствовать возникновению этих новых богов.

Политика. Экономия. Ежеминутно это слышишь, это и только это. Трезвость. Деловитость. А я спрашиваю, что бы было, если бы оказалось, что так по-настоящему они занимаются совсем другим...

Производят? Конечно. Но если французы работают, чтобы что-то сделать, они работают, чтобы работать.

Я склонен даже предположить, что их огромные экономические достижения были возможны потому, что это их не слишком интересовало.

Что из того, о чем я думаю, берется из моей болезни? А что из болезни Берлина? Этот город так на меня похож в некоторых вещах, что я уже не знаю, где кончаюсь я, а где начинается Берлин.

Мне нехватало в Берлине кафе артистов и художников, чего-то вроде «Землянской» и «Зодиака» старой Варшавы. Идея понравилась редактору И., мы решили начать заседать по вторникам и четвергам в кафе Цунц, мы известили друзей, знакомых. Вначале приходило много народа, казалось, что медленно возрождаются традиции знаменитых берлинских кафе. Иностранные художники, приглашенные в Берлин фордовским Фондом, тоже туда заходили, а из немецких писателей — Гюнтер Грасс, Уве Йонсон, иногда Петер Вейсс... Длилось это недолго. Спустя несколько месяцев все сократилось до моего столика, который продержался больше полугода и потом исчез... Думаю, что если бы инициатива исходила от них, из внутренней потребности, и была бы менее интернациональной, то затея удержалась бы немного дольше — но, наверное,

ненамного. Мне показалось, что просто они не хотят общаться, не нужен им обмен мыслей, да и вообще какой-либо обмен, каждый знал свое, а то, что знал, выражал тем что делал: книги, статьи, картины или другая деятельность. Всеобщий скептицизм по отношению к каждому непосредственному контакту, не ограниченному рамками определенной задачи. Их взоры встречались, но всегда на чем-нибудь, никогда так, чтобы глаза углубились в глаза.



Проф. Газенклевер пригласил меня на беседу с его студентами — со студентами *Literarische Colloquium*. Учат там странным вещам: как писать, как стать писателем. Молодые писатели, чувствующие божью искру, изучают там технику композиции, артистического выражения, фабулы, черт знает чего, может быть даже технику вдохновения. Чудесная вилла на берегу Ванзее и прекрасное помещение в центре города — вот материальное оформление этого своеобразного эксперимента, едва ли не единственного в своем роде. *Veni, vidi...* и я сказал — *primo*, что если они хотят стать писателями, то должны бежать оттуда дверями и окнами, *secundo*, чтобы не позволили очаровать себя Бютору, который будет их обольщать фокусами *pouveau roman français*, а также другими теориями. И проф. Газенклевер и его студенты приняли мои советы с большим (насколько мне показалось) удовольствием, не лишенным веселья. Это в самом деле странно: они все по уши в науке, технике, научность врывается у них даже в области, бывшие всегда заповедником человеческой свободы, но то и дело слышу их освобождающий смех и чувствую, что где-то как-то они — мои союзники.



Бютор был ко мне очень добр, навещал меня, когда я оправлялся от моих гриппов — я отплатил ему атакой на дорогие его сердцу артистические *credo*. Некрасиво? Но я считаю, что каждый художник должен, даже вопреки своей воле, быть явлением драматическим (ибо искусство

углубляет), так что даже минутные соприкосновения художников и те не могут быть чем-то вроде тепленького и приторного супчика. Проклятое потомство Джойса! Прокляты, как он, те, кто помаленьку, невозмутимо занимаются литературой для литературы, возвышенной, эзотеричной, опирающейся на кучку посвященных, в то время как я скучаю, обессиливаю, засыхаю!

Но не только Бютор, не только Берлин... Вся Европа кажется мне конем, который добровольно влезает в хомут... Послушные, покорные, полные доброй воли по отношению к теории, конструктивные, положительные, методические, мозговые... Ах, пустыня!



Ко мне с визитом приходит пани Барбара Свиная, жена режиссера, она приехала из Польши. Вручает мне прекрасную розу, говорит, что жаждет со мной познакомиться, поговорить... Отлично. Не один раз были у меня такие визиты. Идем в кафе.

Разговор сходит на психологию немцев. Мне показалось, что пани Свиная немного упрощает эту психологию, о которой исписано целые томы, которая представляет собой одну из главных проблем современности — ибо трудно отказывать им в добродетелях и талантах, но нельзя отрицать, что эти добродетели и таланты привели их, во времена Гитлера, на край ночи. Пани Свиная говорит, что она знает лучше, а я хуже, так как я сидел в Аргентине, не узнал немцев на собственной шкуре, не видел их кровавой работы. Я говорю, видите ли, дорогая пани, я знаю, что если вы хотите проникнуть в чью-то душу, одного опыта мало, нужна еще интеллигенция, проницательность, надо погрузиться глубоко в человека или в народ, а кроме того, отсутствие отстранения зачастую затрудняет восприятие... и возможно, что поляки, столько пострадав, не всегда в состоянии подойти к немецкой психологии с достаточной дозой холодного объективизма...

Витольд ГОМБРОВИЧ

Стихи

Болеслав Лесмян (1877-1937)

В 1920 году Лесмян публикует «Луг». Но лишь горсть друзей и знатоков замечает и приветствует появление книги, Граждан возрожденной Польши перестали в это время интересоваться лирические признания, шопоты, легенды и сказки. Их место заняла осязаемая, ежедневно ощущаемая действительность родной страны. Певцами больших и малых радостей — повседневных, очищенных от метафизики, стали поэты молодого поколения, получившие потом имя «скамандритов»: Ю. Тувим, Е. Лехонь, К. Вежинский. В их стихах, воспевающих радостное удовлетворение обычной, но свободной жизни, место вчерашних героев и русалок заняли простые люди, ремесленники и буфетчицы. Героем их стихов был современный город, его шумная, лихорадочно куда-то снующая толпа.

Польская поэзия 1920-1939 гг. оставалась под доминирующим влиянием именно этой поэтической школы. Поэтому тогдашняя критика причислила Лесмяна к числу эпигонов символизма. Это мнение не изменилось и после выбора поэта в Польскую академию литературы.

Лишь после второй мировой войны Лесмян начинает заниматься научная критика — как в стране, так и в эмиграции. Это стало возможным благодаря опубликованию забытых статей поэта, написанных еще до первой мировой войны, и его корреспонденции с издателем журнала «Химера» (1901-1907) Зеноном Пшесмыцким-Мириамом.

Если в Польше критики стремились «отсимволизировать» поэзию Лесмяна, придать ей — вопреки очевидности текстов — антиспиритуалистский характер, не обращая внимания на художественную сторону произведений, то мы, в эмиграции, старались понять весь комплекс сложного явления, прежде всего его связь с барокко, т. е. новаторский характер его поэзии.

На лирику Лесмяна оказала влияние прежде всего обстановка, в которой прошли его детство и молодость: Украина, ее богатая растительность, ее люди, их язык, обряды, думы. Литературная культура поэта начинает формироваться в годы учения в гимназии, а потом в университете. Тогда рождается, типично романтическая мечта о создании «польских былин». В эти годы (1906-

1907) поэт публикует в замечательных московских литературных журналах «Золотое руно» и «Весы» два цикла стихов на русском языке: «Песни Василисы Премудрой» и «Лунное похмелье». Отличное знакомство поэта с русской поэзией проявляется на каждом шагу. В его корреспонденции то и дело встречаются ссылки на книги русских авторов. В 1912 г. Лесмян пишет из Парижа письмо Жеромскому с просьбой помочь ему получить согласие варшавского издателя, у которого он хотел бы опубликовать перевод произведений Салтыкова-Щедрина. Мы знаем, что в Париже Лесмян читает стихи русских поэтов, прежде всего Бальмонта, с которым он дружил.

На формирование слова и стиха Лесмяна оказали влияние не только символисты и акмеисты, но и русский язык. Кажется, что поэт, долгие годы живший среди звуков и ритма языка Пушкина и Гоголя, хотел, чтобы его польские стихи звучали так же напряженно, чтобы они так же были полны мелодии.

До конца жизни Лесмян останется верным эстетике, вырабатанной в 1912-1915 гг., когда работая над сказками из «Тысячи и одной ночи», он познакомился с барокко, сначала восточным, а потом отечественным (Я. Х. Пасек). С этого времени в стихах Лесмяна поселяются чудовища, одержимые Богом, нередко их характеризует чрезмерный эротизм. Все герои его поэм разыгрывают драму человеческого существования. Людей сражающихся, летающих по небу, бросающихся в разврат или в объятия смерти Лесмян изображает по-своему. Его стиль — это некоторые черты романтизма (индивидуализм, борьба с Богом), сочетающиеся с барокко, проявляющееся в чисто театральной роскоши, в переодеваниях, их метаморфозах, придающих поэтическому миру Лесмяна, постоянную изменчивость. Часто этим сценам сопутствует юмор, в основе которого лежит нонсенс.

Для поэтического языка этих произведений характерны, с одной стороны, форма диалога, с другой, контрастность, достигнутая благодаря разнообразию использованных элементов, сознательно почерпнутых из всех слоев польского языка — от аристократизма символистов до грубоватости народных выражений. Не говоря уже о единственных в своем роде неологизмах. Если у других поэтов «Молодой Польши» словотворчество было скорее украшением, модной помадой литературного языка, то у Лесмяна неологизмы рождают не существовавших ранее существ, рождают новую действительность.

Переняв наследие польского барокко и романтизма, Лесмян сумел обновить его своим собственным, неповторимым стилем и выразить свои мечты и страсти новым, гениально созданным языком. Талант и неутомимый, сознательный труд обеспечили ему видное место в ряду зачинателей современной польской поэзии.

БИБЛИОГРАФИЯ: Сад на перекрестке, 1912; Сезамовы сказания, 1913; Приключения Синдбада-морехода, 1915; Луг, 1920; Тенистый напиток, 1936; Лесная легенда, 1938; Польские сказания, 1956; Литературные очерки, 1959; Разрозненные произведения-Письма, 1962.

Исследования: А. Сандауэр: Посмертный триумф Молодой Польши или о поэзии Болеслава Лесмяна. «Творчество», № 1, 1964; Ю. Тшнадель: Творчество Лесмяна. Варшава, 1964; М. Панковский: Лесмян: бунт поэта против границ. Брюссель, 1967 (на фр. языке).

Мариан ПАНКОВСКИЙ

Песни Василисы Премудрой

I

*Я — солнечная быть, я — мудрая царица,
Любимица небес и леса и ручья, —
Я — голос бытия таинственно запевный, —
Всем обрученная и все же я — ничья!*

*Я знаю мысль цветов и думу лунных блесков,
И песню дряхлую, что мохом поросла,
И трепеты ночей, и тайны перекрестков,
И водометный сон упругого весла!*

*В моем коралловом, подводном захоластье
Есть жизнь бессмертная и радостная грусть.
Я много помню дней и знаю наизусть я
Все то, чего нельзя запомнить наизусть!..*

*Меня исполнил Бог душою благовонной,
Душою — розою и телом — жемчугом, —
Вдоль да по матушке — лазури небосклонной
Плывет моя ладья, окованная сном!*

*Она плывет — поет по ветру-урагану
О том, кто был в нее так сказочно влюблен!..
Поклон ему в былом — царевичу Ивану —
За тридцать земель — мой царственный поклон!*

II

*С улыбкой ясною твержу я неустанно
Мою пословицу: где сказка — там и Бог!
И удивляю мир тревожный и туманный
Разоблачением невиданных дорог!*

*Плескаясь на слепо в жемчужной суматохе
Невольны-пенных волн, заплетенных в венец,
В начале расскажу и ужасы, и вздохи,
Чтоб неожиданней был радостный конец.*

*И, веря, что игра — заботы мудренее,
Я всеми чарами за правду постою!*

И мне легко найти забаву и затею,
И я горжуся тем, что слез не признаю!

Для сказок — нет могил! Единая могила —
Лишь эта знойная, заоблачная твердь!
Ту жизнь, что мне дана, я долго золотила, —
И смерть мне ни о чем! Я видывала смерть!

III

Когда в безбрежности луна воздушно блещет,
И золотится сном догадливая бровь, —
Неслышным пламенем в груди моей трепещет,
Обильно-сладкая, святая нелюбовь!..

Я чувствую ее к минуте пробужденья
От сна заморского и полного чудес,
Хотя и страшно мне в ночном самозабвенье,
Мечтать о небесах и не узреть небес!..

Но я молюсь тогда молитвою греховной —
Да не коснется день моих недвижных плеч!
И слышен ангелам мой трепет нелюбовный
И нелюбовная, причудливая речь!

Но утро красное, что в солнце ночевало,
Ласкает грудь мою и теплится в крови, —
Я знаю: сон исчез! Я знаю: солнце встало!
И замираю вся от нежной нелюбви!..

IV

Пылают облака узорчато-цветные,
Струится в воздухе благоуханный гром!..
Поспели уж к весне кораллы наливные,
Люблю их пожинать невидимым серпом!

Уж тени мнимые в глазах от света бродят,
Стоит — не движется полуденный пожар,
И волны замерли и золотом исходят,
Как будто солнечный постигнул их удар!

Я знаю сказ весны! Я помню, как намердни
Взывал гусярный звон у красных у ворот, —

Пора задуматься над сказкою последней,
Над той, которая придет, но не пройдет!

Пора от старого, забытого обрыва
В условленную даль уплыть мне по волне!
Чу!.. лебедь сказочный встревожил гладь залива...
Чу!.. время движется!.. Нет времени во мне!

V

Я та, которой нет — но есть мои мечтанья,
И слышен шопот мой повсюду — на цветах,
Не чужд и мне живой огонь существования,
И Богу я могу присниться в небесах!

Я знаю суетность разгаданных заклиний
И дивно не хочу быть видимей Любви,
И, как она, живу — вне жизни, вне объятий!
Я — только сон во сне! Я — бред в твоей крови!

Но мною бредит лес, и ветер за горами,
И вековой дуб, склонившийся к пруду, —
И светится мой взор, моими колдовствами
Перезолоченный в полночную звезду!

И дружбою своей до гроба и загробной
Дарят меня давно богатыри всех стран!
Люби меня за то, что я жизнелюбна, —
За то, что нет меня, царевич мой Иван!

(1906)

Болеслав ЛЕСМЯН

Владислав Броневский (1897-1962)

В довоенной Польше Коммунистическая партия находилась на нелегальном положении, а коммунистическая деятельность строго каралась. Одновременно, с 1926 г. привилегированное положение в стране приобрели легионеры — бывшие солдаты и офицеры военного соединения, созданного в годы первой мировой войны при поддержке Центральных держав — Германии и Австрии, и сражавшегося под водительством Пилсудского с Россией. Одним из легионеров был Броневский.

В Легионы Броневский вступил, будучи еще гимназистом, в 1915 году. Он храбро воевал, причем не только во время первой мировой войны, но и потом, во время польско-советской войны 1920 г. На этот раз Броневский был уже офицером и демобилизовался в чине капитана. Коммунистом он стал позже, во время незавершенной учебы в университете. И оказался в парадоксальном положении: был коммунистом, но — одновременно — бывшим легионером, а в результате — привилегированным коммунистом. Однажды, в 1931 г. он, ненадолго попал в тюрьму. Еще до этого, в 1929 г. его поэма «Парижская коммуна» была конфискована после публикации. В принципе, однако, он мог совершенно свободно печатать свои революционные стихи. Более того, в 1934 г. легально выехал в Советский Союз и публиковал свои полные восторга репортажи в либеральном еженедельнике «Ведомости литератке» (кстати, в коммунистической Польше их никогда не публиковали, не останавливаются на них и исследователи творчества поэта. Уж очень эти репортажи наизы. тем более, что описывают они Россию на пороге «великой чистки»). Незадолго до начала войны в 1939 г. Броневский получил литературную премию профессионального союза польских писателей.

Эта премия была свидетельством высокой оценки, которую получила его поэзия в литературных кругах Польши, даже среди людей, которым были чужды идейные взгляды поэта. Броневский завоевал себе к этому времени место в числе крупнейших поэтов независимой Польши.

Это была поэзия, в которой отсутствовали большие философские идеи, но поэзия мужественная, энергичная, выразительная ритмически, смело протестовавшая против социальной несправедливости и звавшая к новому, лучшему миру. Ранним стихам поэта свойственен гневный оптимизм: мир плох, он основан на угнетении человека, но в нем есть воля к борьбе с несправедливостью и эта воля — залог победы нового, справедливого, человеческого мира. Потом, в тридцатые годы, горизонт Броневского заметно мрачнеет. Он не изменяет своей вере в коммунизм, но пишет мрачные, полные отчаяния стихи, напоминающие своим настроением «Москву кабацкую» и «Черного человека» Есенина, любимого поэта Броневского. Но именно эти стихи Броневского принадлежат к числу лучших в его творчестве.

Когда над Польшей нависла опасность гитлеровского нападения, Броневский ни на минуту не усомнился в том, что перед лицом гитлеровского нападения сведение счетов за социальную

несправедливость нужно отложить. Он писал в стихотворении «Примкнуть штыки»:

Есть в стране счета обид
Не перечеркнуть их и чужой руке,
Но крови не поскупит никто:
Ни из сердца, ни из песни.
Ничего, что не раз на этой земле
С горчинкой был хлеб тюремный.
За эту руку поднятую над Польшей —
Пуля в лоб!

И когда вспыхнула война, Броневский одел форму и поехал искать свою воинскую часть. Он был во Львове, когда в город вступили советские войска. Так второй раз оказался он на советской территории, но на этот раз не как почетный гость — иностранный поэт-коммунист, — а как один из многотысячной массы польских беженцев. Броневский был полон ненависти к врагу, напавшему на его родину, полон воли к борьбе и не мог представить себе, что в Советском Союзе, который представлялся ему осуществлением его мечтаний, он не имеет права говорить об этой ненависти, не имеет права слова плохого сказать о гитлеровской Германии. По Львову ходило тогда, как «подпольная литература», его стихотворение, начинавшееся словами:

Сын покоренного народа, сын вольной песни,
О чем и как мне петь, когда мой дом разрушен и сожжен?
Как танк раздавил Сентябрь грудь родной земли,
А рука моя безоружна и безоружна земля родная.

В январе 1940 г. поэт был арестован и заключен в тюрьму. В газете «Червоны штандар», выходившей тогда во Львове на польском языке, можно было прочесть гнусную статейку, в которой Броневского разоблачали, как польского офицера и «шпиона». Тогда он познакомился с советской действительностью — из тюрьмы. Его тюремные стихи полны горького изумления — каким нечеловеческим и жестоким оказался именно тот строй, в который он так верил. Тюрьма лишила его всех иллюзий: «О, как печально идти через этот кровавый мир, идти кладбищем идей». Там же, в львовской тюрьме, было им написано — единственное в его творчестве — стихотворение на русском языке (который он хорошо знал, с которого много переводил), злое слово, брошенное в лицо СССР.

Человек — это звучит гордо
Сказал покойный Максим
а меж тем: тут колотят в морду
говоря что ты сукин сын.

Что же делать такому сыну
За решеткой НКВД?...
Так помолится мы материцной
Потускнелой алой звезде.

"Зеленек - это зеленит горю!"
 сказал покойный Максим,
 а тем тем: плути колотили в морду,
 говорю, это ты цукии сын.

Это же делам такому сыну
 за решеткой НКВД.
 Так помнюсь же материнской
 потускневшей алой звездой.

12 мая 1940
 Вронисек;

После нападения Германии на Советский Союз польские заключенные в СССР были «амнистированы». Освободился по амнистии и Броневский. Выйдя из тюрьмы он пришел в Москве в посольство польского эмигрантского правительства и работал в редакции, издаваемого посольством, журнала «Польша». Потом вступил в армию, формировавшуюся в то время генералом Андерсом из бывших узников советских лагерей, и с этой армией в 1942 г. эвакуировался из СССР. Последние два года войны занимался печатно-литературной работой.

В эти годы им написано два тома стихов. Вошли туда и стихотворения, в которых он отказывался от своей давней веры в коммунизм (их никогда не перепечатавали в Польше, после смерти поэта они были изданы в 1962 г. в Париже отдельным сборником). Но не эти стихи доминировали в эмигрантском творчестве поэта. Главными были стихи, которые можно было бы назвать солдатскими, пронизанные духом борьбы, и стихи, полные тоски по родине, потерянности поэта в чужом экзотическом мире. Эти очень простые, ритмичные, легко запоминающиеся стихи приобрели огромную популярность, особенно среди солдат. Наряду с Казимежем Вежинским, Броневский был самым популярным польским поэтом на эмиграции в годы войны. И как только война кончилась, он вернулся на родину.

Но не были эти годы легкими и счастливыми. Тоска по родине принимала болезненный характер. Всегда склонный к рюм-

А на родине жила легенда Броневского, крупнейшего польского поэта-коммуниста. Уставший, разочарованный, идейно опустошенный поэт без сопротивления, как кажется, принял на себя предложенную ему роль официального барда коммунистической Польши.

Играя эту роль барда, Броневский написал в 1953 г. верно-подданническую «Песню о Сталине», которой потом стыдился и после 1956 г. исключил из всех своих «Избранных произведений». В эти годы были написаны волнующие лирические стихи, но все программные стихотворения последних лет были мертворожденными. Великим коммунистическим поэтом Броневский был только в Польше Пилсудского.

Виктор ВАЙНТРАУБ

Публицистика

Может случиться и так...

Мальчиком, как и все мои ровесники, я любил собирать марки. В то время австрийская почта выпустила большую, продолговатую, невиданной красоты марку. На ней красовались — в профиль — три портрета. Три старика — три императора — Франц Иосиф, Вильгельм, и турецкий султан. Турецкий султан не уступал тогда по своему значению старейшему в семье европейских монархов — Францу Иосифу. О Вильгельме и говорить не приходится. Он был самым могущественным самодержцем в Европе. Сегодня от султана, «брата солнца и луны», не осталось и следа. Можно месяцами читать мировую прессу и не встретить слова «Турция». Великие империи — Турция, Австрия, — а даже и Англия превратились в провинциальные «Швеции». С той только разницей, что не всюду такой порядок, как в настоящей Швеции.

Эта статья — плод абстрактных размышлений. Тем не менее, внимательно следя за ареной международной политики, я с каждым месяцем все больше и больше убеждаюсь, что вариант, представленный здесь, более, чем вероятен. Я не написал бы этой статьи, если бы думал иначе.

Мне кажется, что историческая ситуация, запершая нас, как в тюрьме, между Германией и Россией, приходит к концу. Мне кажется также, что традиционная русская внешняя политика должна будет измениться. России не грозит более опасность со стороны Запада. Опасность идет с Востока. Польша подходит к Германии с исторической, а не с реалистической точки зрения. Той Германии, которой мы боимся, просто не существует. Франция потеряла так много крови во время I мировой войны, что потерпела

— на удивление миру — молниеносное поражение во Вторую. Немцы — на протяжении одного поколения — проиграли две войны, причем вторая война окончилась их полным разгромом. Реакция немецкого народа должна быть значительно глубже, чем реакция французов после 1918 года. Доказательств этому достаточно. Я думаю, что если бы по Версальскому договору Германия была разделена, если бы у нее были отобраны огромные территории (как это случилось в 1945 году), если бы ей запрещено было вооружение (как по отношению к атомному оружию после II мировой войны), — в таком случае Гитлер пришел бы к власти не в 1933, а в 1923 году.

По окончании II мировой войны Германия была оккупирована, четвертована, унижена. Несмотря на это, в течение 30-ти лет, прошедших с начала войны, в Германии родился лишь опереточный «Гитлер», не смоавший получить ни одного места в федеральном парламенте. Нет сомнения, что после Второй мировой войны Германия реагирует совершенно иначе, чем после Первой. Сегодняшняя молодежь в большинстве своем настроена антимилитаристски. Реваншистский миф «IV-го Рейха» отмирает вместе со старшим поколением.

Все это может измениться. Для нашего варианта мы принимаем следующий тезис: Германия никогда уже не будет ни мировой державой, ни военной силой в европейском масштабе. Это касается, впрочем, не только Германии. Превратиться в мировые державы не смогут ни Франция, ни Англия. Эпоха европейского могущества прошла. Россия, в значительной степени, — держава азиатская.

Судьба Польши и восточной Европы прямо вытекала из отношений между нашими могучими соседями. Положение России и Германии меняется. Вместе с ним переживает метаморфозу историческое соотношение сил в нашей части Европы.

У России нет определенной политики в китайском вопросе. Могучий Китай — совершенно новый элемент в советской дальневосточной политике. Традиционная политика основана была на убеждении, что Китай во много раз слабее России. С ним никто не считался. Не удивительно, что сегодня многие специалисты по советскому вопросу уверены, что проблема Китая становится центральной для политики СССР.

Итак, мы видим, что положение наших соседей-за-

хватчиков коренным образом меняется. А это раньше или позже должно повлечь за собой перемену в положении стран Восточной Европы.

Профессор Тойнби подсчитал, что на протяжении прошедших столетий Россия двадцать раз подвергалась нападениям со стороны Запада. Мы предполагаем здесь, что двадцать первого нападения Запада на Россию не будет. Гораздо легче себе представить советские танки на берегу Ламанша, чем танки НАТО под Ленинградом. Со стороны Запада России ничего не угрожает.

Китай будет становиться все сильнее и сильнее — такова наша предпосылка. В этом случае Россия начнет искать союзников не против Германии, а против оснащенного атомным оружием Китая. Общественное мнение Польши, Чехословакии или Венгрии было нетрудно настроить против Германии. Другое дело — найти в восточной Европе союзников в борьбе с Китаем. Легко себе представить настроения украинских солдат на Дальнем Востоке. Чего украинец может искать под китайской стеной? К тому же, мы знаем, как недовольны украинцы тем, что большая часть их национального дохода идет на капиталовложения в Сибирь, тем, что миллионы украинцев, живущих в Сибири и на Дальнем Востоке, лишены возможности учиться украинскому языку.

Предположим, что разгорается русско-китайская война и поставим вопрос: что на эту тему будут говорить жители самой большой страны-сателлита — поляки? Жители Варшавы шептали бы, что китайцы бьют кацапов. Все радовались бы по поводу каждого поражения советских войск. У нашего народа нет особых симпатий к Китаю. Но к русским мы испытываем особую и почти всеобщую ненависть.

Похоже реагировали бы народы Советского Союза. Зачем украинскому народу проливать кровь в войне с Китаем? Какое украинцам дело до Китая, с которым никогда никаких столкновений у них не было!

В этих условиях, с течением времени между самыми большими (не считая русских) славянскими народами — польским и украинским, образовалось бы нечто вроде взаимопонимания и согласия, не навязанного партией и правительством, а следовательно, тем более сильного и глубокого. Само собой разумеется, в случае войны или дру-

гого кризиса, Россия будет пытаться предотвратить такое сближение, означающее союз 75 миллионов человек.

Украинцы связаны веками общей истории с русскими. Поэтому когда-то я выразил мнение, что если бы Россия «европеизировалась», если бы превратилась в федерацию независимых народов, то украинцы, возможно, предпочли бы остаться в русской орбите, а не искать союза с Польшей.

Эта ситуация может измениться в случае длительной войны русских с Китаем. Польша может показаться украинцам гораздо более естественным и выгодным союзником, чем Россия.

У поляков, так же, как и у украинцев, нет ни малейших причин проливать свою кровь в войне с Китаем, которая может тянуться годами. Определенный процент как украинцев, так и поляков, стоит за прочную связь с Россией. Если, однако, победа России в войне с Китаем означала бы укрепление тоталитарной власти Кремля и еще большую зависимость Польши и Украины от Москвы, то вряд ли она была бы на руку этим двум народам. Мы хотим союза с Россией, но не с Россией-тюрьмой народов и жандармом Европы.

В случае, который мы анализируем, Москве было бы ясно, что советской тюрьмы народов не разрушат ни татары, ни киргизы. Но могут это сделать поляки и украинцы. Сепаратистское движение в Польше и Украине могло бы повлечь за собой безудержную цепную реакцию. Поэтому советская политика будет направлена прежде всего на то, чтобы рассорить поляков и украинцев, следуя испытанному правилу «разделяй и властвуй».

Россия может это сделать просто и дешево. Отдав Польше Львов, Россия перечеркнула бы все шансы на соглашение между Польшей и Украиной. В газетах появилось бы официальное коммюнике: партийно-правительственные делегации СССР и Польши, после внимательного изучения вопроса, пришли к выводу, что Сталин отобрал Львов у Польши в период «ошибок и извращений».

Поляки вошли бы во Львов с развевающимися знаменами и барабанным боем. Печать подняла бы вой о возвращении на исконные польские земли.

На Украине, возможно, начались бы волнения, кроваво усмиренные воинскими частями. Украинцы оказались бы между молотом и наковальней. С одной стороны —

враждебно настроенные поляки, с другой — не менее враждебные русские. Москва добилась бы своего, т. е. подавления в зародыше возможности польско-украинского союза.

Советский Союз совершил политическую ошибку, оторвав Львов от Польши. Польский Львов окончательно разделил бы братские народы — поляков и украинцев. Это выгодно Москве во всех условиях — не только во время кризисов и войн. Сталин отобрал у нас Львов, производя очередной раздел Польши. Ни он, ни Гитлер не считались тогда с возможностью возрождения польского государства. В связи с этим я не удивлюсь, если русские решатся отдать нам Львов, чтобы воскресить польско-украинскую ненависть. Причем это может произойти во время кризиса даже не столь драматического, как война с Китаем. В условиях обострения национальной проблемы в СССР, Москва могла бы много выиграть, «подкупив» поляков и посорив их с украинцами.

Взглянем еще раз на предпосылки рассматриваемого нами варианта. Исторический процесс, видимо, благоприятствует нам. Германия уже не будет милитарной державой. Россия очутилась в тени растущего китайского могущества.

Сила государства лишь до определенной степени зависит от размеров его территории. Я убежден, что если бы поляки, воспользовавшись удобным случаем, отобрали у Литвы Вильно, а у украинцев Львов, значительно ухудшилась бы позиция Польши по отношению к России. Ибо города сами по себе не имеют значения. Важны народы. Вопрос не в том, чтобы отвоевать Вильно и Львов. Надо завоевать доверие и дружбу украинцев, литовцев, белоруссов. По сути дела, мы находимся в гораздо лучшем положении, чем в прошлом. Все эти народы ненавидят русских. Умная польская политика состоит в использовании этой обстановки. Но если мы пожелаем повторить политику наших великодержавных предков XVII века, то может быть нам и удастся вернуть Вильно и Львов, но зато мы не восстановим правильного соотношения сил между нами и Россией. В конечном же счете, это важнее всего.

Союз — это всегда сотрудничество и соперничество, вместе. Никаких сомнений в этом нет. Россия до тех пор не будет считать Польшу достойным партнером, пока не увидит в нас своего соперника в восточной Европе. С

партнером, неспособным к соперничеству, никто не ищет союза. Это элементарное правило как политики, так и экономики.

Могут сказать, что это сны о могуществе, ягеллонская идея и пр. Ничего подобного я в виду не имею. Придет время, когда у украинцев, народов Прибалтики, литовцев и т. д. будет возможность обрести если не полную независимость, то во всяком случае настоящую автономию. Польша должна поддерживать эти народы и защищать перед Москвой их интересы.

Можно выдвинуть кажущийся логическим аргумент. Нет причин жертвовать собственными интересами, защищая интересы Украины. Не следует ухудшать отношений с Россией, ратуя за украинцев или литовцев.

Соперничество всегда находится в центре польско-русских отношений. Мы проиграли это соперничество не в непосредственной борьбе с Россией, а на Украине. Мы не могли предложить восточноевропейским народам того времени ничего, кроме эксплуатации и колонизации. Поэтому о польской восточной политике (так называемая ягеллонская идея) поляки говорят с пафосом, а украинцы и литовцы с ненавистью.

Мы не выступаем здесь ни с проектом польско-украинской федерации, ни, тем более, с планами нового похода на Киев. Но, образно выражаясь, выиграть у России мы сможем только на Украине. В благоприятных условиях мы сможем восстановить пропорцию сил между Польшей и Россией. Но для этого нужно убедить народы, отделяющие нас от России, в нашей поддержке и дружбе. Это не империализм и не ягеллонская политика — это просто разумная политика. Такая политика гораздо сложнее, чем империализм. А минимимпериализм — Заользье или отрыв Вильно от Литвы — политика самая легкая, но и ведущая к последствиям катастрофическим.

В своих рассуждениях мы исходим в частности из того, что определяющей силой при решении вопроса будем ли мы равноправным партнером России или нет, будут решать не русские, а украинцы, белорусы, литовцы и другие прибалтийские народы. Если мы сможем их уверить в том, что Польша может им предложить больше, чем Москва, что наша политика не имеет ничего общего с империализмом, — тогда мы сможем вновь обрести нашу утраченную позицию по от-

ношению к России. Отказ от Львова с этой точки зрения будет частью нашей русской, а не украинской политики. Мы не должны помогать России в ее попытках посеять раздор между Польшей и Украиной. Поэтому наши требования возвращения Львова и Вильно льют воду на мельницу русской империалистической политики.

Кроме того, надо помнить, что потеря Львова для украинцев была бы гораздо более болезненной утратой, чем для нас. У украинцев есть прекрасный, древний Киев. Но кроме него, нет городов, сравнимых по историческому великолепию с Краковом, Варшавой, Гнезно, Гданьском, Познанью. А ведь у нас есть и Вроцлав и Катовице и десятки других городов. Поэтому украинцы будут беднее без Львова, чем мы без него.

Я уже подчеркивал, что эта статья чисто умозрительное размышление. Мы принимаем априори, что могущество Китая — вырастет, что Германия перестала быть захватнической милитаристской страной. Так может случиться, — но может случиться и по другому.

Но то, что здесь написано о польско-русских отношениях, — не абстрактное рассуждение. Независимость, понятая с польской точки зрения, — это освобождение от русского диктата. Если исключить атомную войну, которая может все изменить и о которой невозможно строить какие-либо предположения, у нас есть лишь один путь к свободе. А этот путь — восстановление авторитета Польши и ее положения партнера России. К этой цели можно прийти, по моему мнению, заручаясь доверием и дружбой народов, отделяющих нас от коренной России. Чем больше веса будет у польского посла в свободном Киеве, тем авторитетнее будет польский посол в Москве.

В политике нет ничего труднее исправления собственных ошибок. Положения не изменят самые благоприятные условия. Могут исправить эти ошибки, пользуясь подходящим случаем, сами поляки, и никто, кроме них.

В первой части статьи мы рассмотрели вариант политической обстановки в нашей части земного шара, исходя из предположения, что Китай в течение ближайших десятиков лет станет военной и экономической державой, что

повлияет на развитие политических и национальных отношений в восточной Европе. Затем мы приняли гипотезу, что объединенной Германии типа III Рейха никогда не будет, а ее милитарное могущество отошло в прошлое.

В этой части статьи мы рассмотрим вариант, касающийся главным образом Германии. ФРГ потеряла милитарную мощь, но нет сомнения, что она превратилась в могучую экономическую державу. Вполне вероятно, что чем напряженнее будут становиться советско-китайские отношения, тем усерднее Кремль будет искать союза с Германией.

Западная Европа это не НАТО, не «общий рынок», не десятки заседающих в Брюсселе комиссий. Западная Европа — это Германия. Кто завоюет — или привлечет на свою сторону — Германию, тот овладеет западной Европой без единого выстрела.

Россия не может атаковать на двух фронтах — на китайской границе и в Берлине. Только Германия может обеспечить безопасность России на западе. Очень важно также, чтобы Германия не поставляла тайком Пекину современного технического оборудования, не говоря уже об экспертах и советниках.

Аргументы, которые говорят за союз СССР с Германией можно приводить в бесконечность. Почему такой союз не возник, несмотря на то, что он выгоден для обеих сторон?

Англия и Франция никогда не допустят вторичного господства Германии в Европе. Германия может противопоставить Англии и Франции только Советский Союз. Независимо от юридической формы советско-германского союза, это соглашение было бы могущественнейшей милитарно-индустриальной «комбинацией» в Европе. Очевидно, только этим путем Германия сможет вернуть себе статус великой державы. Пример такого сотрудничества уже был — Рапалльский договор, после I мировой войны. Для того, чтобы стать страной-сателлитом, Западная Германия слишком сильна экономически и демографически. Напротив, у немцев есть шансы стать равноправным партнером России, из чего они извлекали бы немалые политические и экономические выгоды.

Почему так не случилось? Я считаю, что Сталин совершил ошибку, создавая ГДР. Если бы не Германская Демократическая Республика, германо-советский союз был

бы уже давно свершившимся фактом. Сталин должен был отдать советскую оккупационную зону боннскому правительству и добиваться господства над всей Германией.

С западноевропейской точки зрения Ульбрихт исполняет весьма полезную и важную роль. Он препятствует объединению Германии и тем самым тормозит создание системы русско-немецкого могущества в Европе. Если бы в Китае у власти были демократы, они, возможно, гораздо легче столкнулись бы с СССР, чем теперешние китайские вожди — марксисты. Без коммунистического государства ГДР Россия без труда договорилась бы с Германией и навязала бы затем Европе немецко-русскую гегемонию.

Объединения Германии не хотят ни англичане, ни французы. Европа боится объединенной Германии. Сталин, создав самостоятельную ГДР, исполнил «политический заказ» западной Европы и избавил Европу от вечно угрожающего ей призрака русско-германского союза.

Как известно, политический строй двух немецких государств не только различен, но и прямо противоположен. Этот идеологический антагонизм исключает возможность объединения. Россия же, боясь потерять престиж и по причинам чисто политическим, не сможет на какой-нибудь «ялтинской конференции» продать Ульбрихта. Падение коммунистической власти в ГДР повлекло бы за собой серьезные последствия и перемены в восточной Европе.

Замысел Сталина состоял в создании коммунистического немецкого государства, которое будет союзником СССР. Если бы Сталину удалось захватить 80% германской территории и если бы ГДР была так сильна, как Западная Германия сегодня, — немецко-русская гегемония в Европе была бы уже свершившимся фактом. Опираясь на Ульбрихта и его государство, можно, конечно, осуществить разные планы, но не господствовать в Европе. В то же время русские должны сознавать, что без поддержки Германии господства в Европе им не установить.

На первый взгляд может показаться, что благодаря Ульбрихту (его фамилия употребляется здесь как символ), немецкая проблема — с русской точки зрения — это квадратура круга. Так оно и есть для политиков масштаба Брежнева и Косыгина. Однако в СССР может появиться политик с буйным воображением, который постарается решить проблему Германии. Надо подчеркнуть еще раз, что выгоды, вытекающие из русско-германского союза так ве-

лики для обеих сторон, что исторический процесс в этих государствах, несмотря на все препятствия, будет стремиться именно к такой развязке.

Объединить Германию может Советский Союз. Объединить в определенном смысле, конечно. Взамен за уступки, за долговременные контракты, за постепенное подчинение политике Москвы, — Кремль может отдать наследникам Ульбрихта распоряжение снести берлинскую стену и предоставить особые привилегии гражданам ФРГ.

Иначе говоря, русско-германский союз — это соглашение между Москвой и Бонном в ущерб ГДР. Если ситуация будет развиваться по намеченной выше линии, то ГДР придет в состояние полного политического упадка.

Мы исходим в наших рассуждениях из допущения, что политическая ориентация немецкого народа переменилась. Немцы потерпели полное поражение на востоке. На западе же они преобразились из врагов в союзников и строителей новой Европы. Германия сегодня значительно сильнее заинтересована в Брюсселе, общем рынке, в поисках своей новой позиции по отношению к Франции и Англии, чем в Варшаве и Праге. Тысячелетний «Дранг нах Остен» потерпел крах и немцы осознали, что вернуть себе статус великой державы они могут лишь на Западе, а не на Востоке.

Если мы сочтем политику «Дранг нах Остен» отмершей, стоит задать вопрос: не вернее ли было бы держать курс польской политики на связь с Германией? Немцы, правда, не славяне, но это западный народ и кто знает, не ближе ли они нам, чем русские. Если бы в будущем дошло до польско-немецкого соглашения, в центральной Европе возникла бы мощная группировка с огромными политико-экономическими перспективами.

«Дранг нах Остен» — реликт прошлого. И я не представляю себе немецкие танки под Ленинградом — по крайней мере, в ближайшие десятилетия. Тем не менее, я не сторонник немецкой ориентации. Следует обдумать и проанализировать все варианты. Это не значит, однако, что все народы располагают одинаковой свободой политических маневров. У русских или у немцев выбор несравненно богаче, чем у нас.

Возможно, что в будущем русские станут искать союза с Германией. Но каждая польская пронемецкая ориентация будет в Москве рассматриваться, как антирусское

политическое движение. Русские могут согласиться на расширение торговых и дипломатических связей между Германией и Польшей, но никогда не согласятся на тесное польско-немецкое сотрудничество.

Следует также помнить, что Германия ориентируется на запад. Если бы когда-либо дошло до немецко-русского союза, то он был бы нацелен не на восточную, а на западную Европу. Русским не нужна Германия как союзник в восточной Европе, но им нужна немецкая поддержка для того, чтобы доминировать в западной Европе. А Германия, в свою очередь, использовала бы связь с СССР не в Праге или Варшаве, а в Брюсселе, Париже и Лондоне.

Это может казаться парадоксом, но именно политика «Дранг нах Остен» благоприятствовала польско-германскому соглашению. Мы могли идти с Германией против России, могли заручаться германскими гарантиями в борьбе с Россией, могли, наконец, в союзе с Германией перестраивать восточную Европу, освобождать Украину и т. д. В деле созидания новой западной Европы Германия не нуждается в Польше. В Париже и Лондоне наша помощь для Германии была бы весьма малоэффективной. Польша оторвана от западной системы и не имеет абсолютно никакого влияния в европейских столицах. И последнее, но самое важное: в ситуации, обсуждаемой нами, Германия, ориентирующаяся на Запад, имея возможность выбирать союзника, безо всякого сомнения предпочтет Польше Советский Союз. Повторим еще раз, что у Германии нет ни малейших намерений освобождать Украину или перестраивать восточную Европу. Поляки совершили в свое время много ошибок на Украине и по отношению к другим народам, отделяющим нас от коренной России. Но нельзя сравнить наши ошибки с немецкими преступлениями, совершенными в той же части Европы. Немцы отдадут теперь себе отчет в том, что идея «Дранг нах Остен» провалилась не только с военной точки зрения. Потерпела крушение стоящая за этим лозунгом политическая концепция. Катастрофическое поражение Германии в России было вызвано бессмысленной политикой III Рейха. Немцам нечего искать на востоке и большинство жителей современной Германии это понимают.

Но несмотря на все их ошибки и поражения, у немцев значительно больший выбор в политическом смысле, чем у Польши. Лозунг «Дранг нах Остен» отставлен в музей,

а немцы с энтузиазмом бросились организовывать «брюсельскую» западную Европу. Те же англичане, которые тридцать лет назад равняли Германию с землей и вместе со Сталиным и Рузвельтом решали ее судьбу, теперь ищут поддержки Бонна в деле вступления Великобритании в «общий рынок». Это не иллюстрация поговорки об изменчивой судьбе. Это пример, доказывающий, что у Германии, даже побежденной, гораздо больше политических возможностей, чем у нас. 1000 лет немецкой «Остполитик» превратились в прах — идея «Дранг нах Остен» отброшена на десять веков назад, к своей исходной точке. Немцы повернулись на запад и стали образцовыми европейцами. Неудача восточной политики означала для них необходимость активизировать политику западную. Для нас поражение нашей восточной политики означало историческую катастрофу, после которой мы не могли подняться на ноги в течение двухсот лет. А это потому, что у Польши, в отличие от Германии, нет западной альтернативы.

Можно ли из всего вышесказанного сделать вывод, что пронемецкая ориентация не будет никогда играть роли в польской политике?

Рассматриваемый нами вариант опирается на предположение, что в связи с угрозой со стороны Китая, Советский Союз будет искать соглашения с Германией. Германия для Москвы, это — ФРГ, ибо только союз с ФРГ может позволить СССР подчинить себе западную Европу без выстрела. Вторжения, само собой разумеется, не было бы, так как оно совершенно излишне. При исполнении такого рода плана Россия должна будет не только действовать без ведома руководителей ГДР, но и пожертвовать государственными интересами ГДР. Восточная Германия будет чувствовать себя преданной, ибо боннские представители приобретут в Москве гораздо больше веса, чем товарищи из ГДР.

Западная Германия требовала бы от ищущей с ней союза России деградации ГДР, а у русских не было бы другого выхода, как удовлетворить это требование. ФРГ добивалась бы главным образом Берлина и эту цену Кремль вынужден был бы заплатить за приобретение нового могучего союзника.

Легко представить, что в таком случае в ФРГ будет гораздо больше сторонников России, чем в ГДР. Восточная

Германия обвинит сталинский режим в своем упадке и отойдет от него.

По мнению многих польских эмигрантов, жители восточной Германии мечтают лишь об освобождении и объединении со своей отчизной, т. е. с ФРГ. Однако в последние годы в ГДР возникло сильное сознание собственного государства. Никто не любит ульбрихтовского коммунизма, но люди умеют оценить социальные удобства, страхование и пр., что в ГДР функционирует гораздо лучше, чем в других странах восточного блока. ГДР сегодняшнего дня зависима от СССР, но она существует. По объединении Германии, ГДР просто-напросто перестанет существовать. Все важнейшие посты заняли бы немцы с запада и начался бы энергичный процесс интеграции.

Мне кажется, что если в ГДР провести добросовестный референдум, то большинство голосовало бы за независимую восточную Германию и за социализм с человеческим обликом, а не за присоединение к ФРГ с ее не всегда человеческим капитализмом. Мы анализируем проблему польской ориентации. Я думаю, что если события пойдут по пути, нарисованном нами выше, т. е. если лишенная своего значения ГДР либерализуется подобно Чехословакии времен Дубчека, то возникнет возможность укрепить и расширить отношения между Польшей и ГДР. Я хочу сказать, что нашим настоящим союзником может быть только либеральная восточная Германия, а отнюдь не ФРГ.

Вариант этот мало вероятен, особенно сейчас, в 1970 году. Но если ГДР останется независимым государством, и руководить ею будут впоследствии люди типа Гарриха, а не Ульбрихта, тогда мы получили бы немцев в кандидаты в наши друзья.

Однако, я ввел в эту статью рассуждения о германском вопросе главным образом для того, чтобы подчеркнуть отсутствие выбора для Польши. И на перемены в этом отношении надеяться нельзя. Мы должны обратиться на восток — ибо только на востоке решается быть или не быть Польше. На Западе наш авторитет будет равен нашему весу на Востоке, — а не наоборот. Мы никак не можем понять, что пример Германии (замена восточной программы политикой западной) — не для нас. Наше географическое расположение исключает такого рода разрешение вопроса.

Я уверен, что раньше или позже начнется советско-

китайская война. Она может длиться долгие годы. Национализм, даже в романтических одеждах, с лозунгом «За нашу и вашу свободу», окажется тогда недостаточной политической программой. Восточная программа, способная что-либо изменить, должна пониматься как социальная идея. Нет революции без социальной идеи. В решающий момент Польша должна без колебаний поднять знамя человеческого социализма и стать Пьемонтом социальной революции, которая преобразовала бы восточную Европу и Советский Союз,

На западе людям кажется, что время идеологии прошло, что всем надоели социализм, коммунизм и пр.

О хлебе не говорят там, где его достаточно. Нет смысла вечно дискутировать о социализме там, где царит порядок и социальная справедливость. В блоке восточных государств причины зла это неправильно понятый и неправильно внедряемый в жизнь социализм. Когда правительство Дубчека уничтожило цензуру в Чехословакии, все говорили только о социализме. Извращенный социализм можно заменить только социализмом настоящим. Переход от извращений социализма к военной диктатуре или к националистско-фашистской власти — это всегда шаг не вперед, а назад.

Революция должна иметь не только разрушающую динамику, но и объединяющую идею, которая и вызывает революцию. Такой объединяющей идеей, способной изменить положение в Польше, Чехословакии, ГДР, Венгрии, на Украине и т. д. — это социализм с человеческим лицом.

Какую мы видим альтернативу? Допустим, что вспыхивает советско-китайская война. Допустим далее, что дальневосточный конфликт влечет за собой ослабление контроля СССР над странами-сателлитами. Нельзя исключить возможности вспышки национального кризиса в СССР.

Альтернатива революции — это национальные восстания. Представим себе множество националистских государств, ведущих между собой войны за Львов, Вильно и десятки других городов. Россия, даже будучи втянута в дальневосточный конфликт, найдет в себе достаточно сил, чтобы использовать местные споры и полностью балканизировать восточную Европу. У Москвы были бы все основания надеяться, что после победы над Китаем она смо-

жет вновь завоевать одно за другим враждующие восточноевропейские государства.

И еще одно. Восстания были бы направлены против России. Революция — не против России, а против тоталитаризма и сталинизма. Русская интеллигенция и русские ревизионисты поддержали бы революцию, но не националистские восстания. Значительная часть русской интеллигенции стояла на стороне Дубчека и, как известно, несколько советских, а не польских офицеров покончило самоубийством в оккупированной Праге.

Россия стоит в центре проблемы. Цель революции — распространиться на весь Советский союз и помочь прогрессивным кругам русской общественности в придании социализму человеческого лица. Перестройка СССР в содружество независимых народов возможна лишь в результате победоносной революции.

Польская восточная политика должна взять курс на социалистическую революцию во всех странах восточного блока, с Россией включительно. В рамках нашего варианта несомненно, что революция должна начаться в Польше, или в Польше и Чехословакии одновременно. Положение остальных государств восточной Европы было бы аналогично положению в Польше. Весьма вероятно, что при поддержке Польши и Чехословакии революция охватит все страны-сателлиты. Тогда успех восточной программы обеспечен. В такой ситуации Россия не смогла бы решиться на вооруженную интервенцию в большинстве стран-сателлитов. Нет нужды говорить, что победоносная социалистическая революция в странах восточного блока повлияет на все народы, входящие в состав СССР, а прежде всего на украинцев. И так сцена для последнего акта великой перемены была бы готова. Этот акт — революция в России и перестройка Советского Союза.

Я не утверждаю, что так будет. Но я утверждаю, что если страны-сателлиты не воспользуются в будущем удобным случаем для совершения социалистической революции, то восточная политика — в нашем понимании — потерпит крах. Мы должны помнить, что СССР нельзя победить, нельзя ему навязать более прогрессивный строй. Можно зато в соответствующих условиях окружить СССР кольцом социалистических государств. А это окажет такое сильное воздействие, что приведет в конце концов к перевороту в России.

И в заключение скажем: те, кто не решаются бороться за победу социализма с человеческим лицом в собственном отечестве, требовать каких-либо перемен в России не имеют права.

Юлиуш МЕРОШЕВСКИЙ

Логика идеологии и логика экономики

I.

СЭВ был создан 21 год тому назад. Его целью, по определению того времени, было: укрепление социалистического рынка, увеличение торговых оборотов между партнерами, ускорение технического развития, братское сотрудничество в области экономики. Все это должно было привести к благосостоянию всех участников СЭВ. Однако с момента рождения, т. е. с 1949 года, в течение 6-7 лет Совет жил только на бумаге. Даже пропаганда посвящала ему мало внимания. Равноправных экономических отношений между партнерами не было. Сталин ввел типичные для колониальной эпохи отношения: политико-экономический диктат метрополии, т. е. СССР, по отношению к захваченным странам. Сотрудничество заменил высокопарный лозунг «Пример, Помощь, Дружба СССР». Под прикрытием этого лозунга Сталин и его подручные решали, что будет этим примером, а что нет, кому, какую и при каких условиях оказать помощь и пр. В настоящее время период этот отошел в прошлое. Стоит, однако, напомнить, что власти советской метрополии пристрасно устанавливали цены, обязывавшие в международной торговле со странами-членами СЭВ. Коммунистическая пропаганда расхваливала «бескорыстную» помощь СССР. Пример этой помощи: в 1947-57 гг. Польша получила от СССР капитальное оборудование взамен за кредит на общую сумму свыше одного миллиарда долларов. Это было бы подведением материальной базы под вышеупомяну-

тый лозунг, если забыть о том, что из-за несправедливых цен Польша потеряла в 1946-53 гг. 500 миллионов долларов на поставке в СССР каменного угля. В 1956 г. было подсчитано, что торговый обмен с Советским Союзом стоил Польше около 2 миллиардов долларов. Лишь в хрущевскую эпоху этот колоссальный долг времен «Примера, Помощи и Дружбы» был частично покрыт Советским Союзом. Точно так же выглядели экономические отношения СССР с другими членами СЭВ.

С течением времени, особенно после смерти Сталина, классические колониальные нормы экономической эксплуатации перестали себя оправдывать. Необходимостью стало расширение общественного разделения труда в пределах СЭВ и развитие торговли с другими партнерами, в частности с западными, странами. Экономика социалистических стран, достигнув известного уровня, задыхалась в тесных национальных границах и в пределах «социалистического рынка», где безраздельно господствовал Советский Союз. Появились центробежные стремления, неузаконенные Кремлем попытки наладить торговые отношения с Западом. Назрел глубокий политический кризис — октябрьские события в Польше, венгерское восстание. На Западе в это время начинался процесс быстрой экономической интеграции, либерализации принципов международной торговли. С точки зрения нужд интеграции и распределения общественного труда чрезвычайно важным было прогрессирующее устранение национальных границ в экономике.

В 1956-57 гг. под влиянием международного и внутреннего положения созрела необходимость коренной перестройки экономических отношений между странами-членами СЭВ. С того времени ведутся попытки определения новой структуры СЭВ. Тем не менее, уровень экономической интеграции стран восточной Европы в настоящее время равен уровню, на котором западные страны находились в начале пятидесятых годов. Более того, растут противоречия в среде партнеров, а неразрешенные до сих пор проблемы все сильнее тормозят экономическое развитие. Об этом говорят многочисленные симптомы. Так, например, динамика торгового обмена стран СЭВ все больше отстает от общего роста оборотов международной торговли. Замедляется темп развития экспортной торговли. В итоге, участие стран СЭВ в международной торговле в

период 1960-67 гг. равнялось лишь 10%, т. е. было в три раза меньше их доли в мировой промышленной продукции. В то же время СССР, Польша, Чехословакия переживают период больших экономических трудностей. Проявления кризиса видны в сфере внутреннего снабжения, в технологии, в деле организации и управления промышленностью и во многих других областях. И это в то время, когда весь Запад переживает эпоху невиданного экономического расцвета. Возникает вопрос: почему СЭВ, объединяющий страны с одинаковым политическим строем, управляемые братскими коммунистическими партиями, «ликвидировавшими эксплуатацию и классовые противоречия», — оказывается бессильным перед проблемами, разрешенными другими международными экономическими союзами?

II.

Причин много. Перечислим здесь главные. Прежде, однако, остановимся коротко на отношениях между странами-членами СЭВ. Эти отношения далеко не так идилличны, как это старается изобразить коммунистическая пропаганда. Вот несколько примеров, иллюстрирующих, что происходит на «социалистическом рынке», где господствуют якобы принципы равенства, сотрудничества и взаимопомощи.

...Польша является, после СССР, вторым в восточной Европе производителем железнодорожных товарных вагонов. Тем временем, как раз в этой стране наблюдается постоянная нехватка вагонного парка. В первое время принято было считать, что виной этому значительных размеров экспорт вагонов и неэффективная эксплуатация железнодорожного транспорта. Однажды, когда положение стало особенно тяжелым, решено было посмотреть, куда исчезают вагоны. Результаты оказались полной неожиданностью. Выяснилось, что братские страны незаконно и бесплатно эксплуатируют несколько десятков тысяч польских вагонов... Происходило это обычно по следующей схеме. Польша высылала в Чехословакию состав с грузом товаров для соседа. Само собой разумеется, что партнер должен был немедленно отослать пустые вагоны обратно в Поль-

шу. Но братская страна тоже очень нуждалась в вагонах. И упомянутый состав направлялся с грузом чешских товаров в Венгрию. Обязанностью Венгрии было вернуть состав Чехословакии, чтобы та могла его передать Польше. Здесь, однако, история повторялась. Состав с венгерскими товарами следовал в СССР и лишь оттуда, с огромным опозданием, возвращался в Польшу. На Западе раскрытие подобной аферы вызвало бы скандал, суд над виновниками, денежные санкции, взыскиваемые без промедления и т. д. В СЭВ такие конфликты улаживаются по принципу «братской взаимопомощи», оставляющему пострадавшему полное право ругаться в кулак.

...В рамках СЭВ работает масса комиссий, организующих бесчисленные конференции. По их окончании пресса публикует оптимистические коммюнике, ни слова не говоря о ходе переговоров. На одной из конференций по машиностроению представитель ГДР министр др. Зинггубер поссорился с польским министром Каимом. Дошло до настоящей перебранки. В чем было дело? Проявились ли идеологические противоречия? Или же партнеры по-разному видели проблемы капиталистического Запада? Отнюдь нет. Просто министр Зинггубер объявил своему коллеге из Варшавы, что, по его мнению, Польша должна прекратить развитие своего машиностроения, ибо восточно-германские машины гораздо выше по качеству. Зачем делать ту же работу два раза? Нет сомнения, что машины, изготавливаемые ГДР, лучше и современнее польских. Об этом знает и министр Каим. Знает он, однако, и другое: ГДР неоднократно отказывала Польше (и другим странам СЭВ) в поставке машин, прежде всего наиболее удачных типов, предпочитая продать их на Запад. Там она могла взамен получить то, чего члены СЭВ дать ей не в состоянии. Кроме того, Польша так далеко зашла в развитии своего машиностроения (о чем не мог не знать немецкий министр), что захоти она последовать «благожелательному» совету др. Зинггубера, она должна была бы перестроить всю структуру тяжелой промышленности, изменить планы, касающиеся всего народного хозяйства. Не удивительно, что разъяренный министр Каим обругал коллегу из ГДР последними словами. Этот эпизод теряет свою колоритность при сопоставлении с поведением торговых представителей этих стран во время переговоров с возможными покупателями. Борьба за клиентов, могущих приоб-

рести машины, ведется по классическим образцам раннего капитализма...

...В Москве была организована в свое время выставка польской обуви, для того, чтобы познакомить советских торговых работников с возможностями польской обувной промышленности. Модели обуви размещены были на полках салона выставки. Процедура переговоров состояла в следующем: советские представители будут поворачивать носками к стене те модели, которые им пришлось по вкусу. Польские торговцы запишут номера моделей, а затем начнется согласование размеров поставок, сроков, цен и пр. На деле все произошло иначе. Советские торговцы шли впереди, за ними — представители польской торговли, шестые замыкал работник польской обувной промышленности. Вдруг разразился скандал. Некоторые из моделей, понравившихся советским импортерам, польский обувник переставлял в первоначальное положение. Уличенный в этих странных действиях, он объяснил в чем дело. Оказалось, что некоторые из выбранных покупателями моделей были изготовлены из импортированных за доллары кож. Польша страдает от недостатка валюты, ее фонды постоянно ограничиваются. В связи с этим, обувная промышленность наталкивается на непреодолимые трудности в области импорта сырья. Кроме того, Польша продает СССР обувь из кож, импортируемых за валюту, получая за готовый товар рубли, которые могут быть использованы лишь в торговле с тем же Советским Союзом. А доллары, как известно, «действительны везде». Это не единичный пример. Польша экспортирует 70% строящихся судов. Большинство в Советский Союз. Значительная часть оборудования этих судов, двигатели, электрические части и др. импортируется из западных стран, поглощая и без того небольшой запас валюты. Польские представители неоднократно пытались добиться от СССР согласия покрыть часть валютных расходов. Дело перебрасывалось из инстанции в инстанцию. Чем окончательно окончилось — неизвестно, но следует полагать, что не в пользу Польши. В СЭВ условия «братского сотрудничества» диктует сильнейший.

...В СЭВ действует Банк международного экономического сотрудничества. Название красноречиво говорит о его назначении. Деятельность Банка и его название имеют, однако, между собой очень мало общего. Несмотря на

молчание коммунистической прессы, из недомолвок и намеков различных представителей СЭВ можно составить представление о профиле работы Банка. Оказывается, на счету у «некоторых» стран членов СЭВ накопился многомиллионный пассивный баланс. Эти страны самовольно берут ссуды, которых им никто не давал. Долги такие появляются в результате неисполнения предусмотренных договорами обязательств по поставке тех или иных товаров. Обыкновенно несоблюдающая договор сторона оправдывается, ссылаясь на «объективные трудности». А таких трудностей, как известно, в каждой стране-участнице СЭВ, предостаточно. Больше всех остальных членов задолжал СССР, рассматривавший Банк как некий источник беспроцентных кредитов. Стоит добавить, что пассивное сальдо должника для кредитора не стоит клочка бумаги. Нет никакой возможности взыскать в срок такого долга, а замороженные в Банке капиталы имеют хождение лишь в пределах СЭВ. Польша в свое время протестовала против такого положения вещей, выдвинув предложение, обоснованное с каждой точки зрения — экономической, идеологической и политической, Польша выдвинула проект начисления процентов на долги, накопившиеся в Банке международного экономического сотрудничества, а затем введения принципа обмена пассивного баланса на золото или западную валюту. Эти нововведения способствовали бы выполнению в срок всех обязательств. Позже на этой базе возможны были бы дальнейшие реформы в СЭВ. Польская инициатива была сорвана членами-должниками. До сих пор на эту тему ведутся горячие споры. Как пишет восточно-европейская печать, в феврале 1970 г. в Москве состоялась 45-ая сессия Исполнительного Комитета СЭВ с участием заместителей премьер-министров. На этой сессии рассматривались «проблемы, касающиеся возможности дальнейшего усовершенствования принципов материальной ответственности за выполнение обязательств, вытекающих из взаимных экономических соглашений». Комментарий излишен. Можно лишь сказать, что в течение 21 года своего существования СЭВ не смог ввести в жизнь элементарное правило, обязывающее в торговых отношениях во всем мире. Не смог? Или может быть лучше сказать, что существующее положение отвечает интересам некоторых стран-членов СЭВ во главе с Советским Союзом? Ответ на этот вопрос очевиден.

III

Вернемся к вопросу, поставленному в начале: **каковы причины кризиса в отношениях между странами СЭВ?** Как известно, в СЭВ входят СССР, Польша, Чехословакия, ГДР, Румыния, Венгрия и Болгария. Страны эти отличаются друг от друга во многих отношениях. Прямо скажем, партнеры «не подходят» друг к другу. Для лучшего уяснения различий, приведем несколько сравнений.

(См. таблиц. стран. 171)

Мы привели здесь немного данных. Увы, статистика социалистических стран весьма редко прибегает к сравнениям в международном масштабе, особенно относительно Советского Союза. Тем не менее, эти цифры позволяют сделать важные выводы. Один только показатель количества населения, занятого в сельском хозяйстве, дает возможность прийти к интересным заключениям. Прежде всего наше внимание останавливает неоднородная структура народного хозяйства. Совершенно очевидно, что количество населения, работающего в области сельского хозяйства, позволяет определить количество населения, занятого в других отраслях, т. е. в промышленности, строительстве, транспорте, торговле, просвещении и пр. Структура народного хозяйства в ЧССР и ГДР резко отличается от экономической структуры других стран. Могло бы казаться, что это должно положительно влиять на развитие товарообмена — с одной стороны промышленные продукты, с другой — сельскохозяйственные. Увы, положение не так просто. Сельское хозяйство большинства стран СЭВ стоит на низком уровне, производительность с 1 га мала, на вывоз остается лишь небольшое количество сельскохозяйственных продуктов. Свидетельствует об этом сравнение показателей урожая пшеницы с 1 га. О разнице в уровне общего развития красноречиво говорит сравнение показателей продукции электроэнергии на 1 жителя. В настоящей стадии экономического развития уровень потребления электроэнергии решает фактически все — от него зависят общественная производительность труда, темпы развития техники, науки, просвещения. А кроме того — потребление электроэнергии определяет стоимость продукции, — что играет огромную роль в условиях интеграции.

	СССР	ПНР	ЧССР	ГДР	Рум.	Вен.	Болг.
% населения занятого в сельском хозяйстве	30,0	42,9 143	19,9 63	15,2 50	54,4 188	30,5 102	43,2 144
СССР = 100	—						
Продукция электроэнергии на 1-го жителя в квч	2684	1719 64	2888 108	3701 138	1409 152	1282 142	1845 70
СССР = 100	—						
Урожай пшеницы с 1 га в центнерах	13,9	24,8 178	31,3 224	41,7 300	17,2 124	25,3 182	23,9 170
СССР = 100	—						
Телефонентов на 1000 жителей СССР = 100	96	91 95	181 189	230 238	48 50	114 118	50 52
Внешняя торговля в долларах на 1 жителя	85	176 207	423 500	419 500	157 185	246 290	403 480
СССР = 100	—						

Прим. Данные взяты из Статистического Ежегодника ГУС за 1969 г. Отдельные данные относятся к 1966 или 1967 и 1968 гг.

Проблема, впрочем, шире — она касается разницы в стоимости рабочей силы. Этот фактор, как известно, играл значительную роль в формировании экономических отношений в капиталистическом мире. Страны СЭВ до сих пор не умеют ни определить, ни принимать во внимание существующих между ними разниц. Тех различий, которые влияют на все развитие экономики в этих странах. Многочисленные столкновения между членами СЭВ часто имеют причиной диспропорцию в общественных издержках производства, включающих и стоимость рабочей силы. Вот пример, иллюстрирующий эти противоречия. Издержки производства одного станка в ГДР равняются, скажем, 5 тысячам долларов, а в Болгарии — 7 тысячам. Первый станок высокого качества, второй изготовлен плохо и примитивно. Какую цену следует принять в торговых соглашениях? Второй пример: для покупки одного станка СССР должен предназначить, допустим, урожай пшеницы с одного га, а ГДР — урожай с 1/3 га. Появляется тот же вопрос: чья цена «объективна»? Характерным показателем является также количество телеабонентов на 1000 жителей. Такого рода диспропорции существуют и в других отраслях электронной промышленности — начиная с продукции радиоаппаратов и проигрывателей, а кончая электронно-вычислительными машинами.

Сравнение последних в нашей таблице показателей дает красноречивые результаты. Внешнеторговые обороты ЧССР, ГДР и Болгарии (исчисляемые на 1-го жителя) в пять раз выше, чем в СССР. Польша и Венгрия в этом отношении также идут впереди сильнейшего члена СЭВ. Это означает, что влияние внешней торговли (положительное или отрицательное) на экономику стран СЭВ неоднородно. Советский Союз экономически независим, по крайней мере формально. Экономика же остальных стран (кроме Румынии) в высокой степени зависит от внешней торговли. 50-60% внешней торговли этих стран связано с СССР. Поэтому они заинтересованы в как можно лучшем функционировании СЭВ. А СССР, извлекающий немало выгод из существующего положения, всячески тормозит проведение радикальных реформ. В лучшем же случае — остается незаинтересованной стороной. Если Польша не поставит Советскому Союзу в срок обуви, или даже машин, советской экономики это не расстроит. Если же, наоборот,

Советский Союз, не исполнив обязательств, опоздает с поставкой каких-либо товаров — это наносит чувствительный удар польской экономике. И еще одно. Высокие внешнеторговые обороты стран СЭВ ставят их, как мы видели, в прямую зависимость от Советского Союза. Там, однако, несмотря на количественную мощь, качественный уровень хозяйства весьма низок. Из этого следует, что СССР не требует продукции высокого качества. В СССР идут из остальных стран СЭВ товары неходовые и просто низкокачественные. Советский рынок поглощает их без сопротивления. Такой, однако, «терпимый» рынок, с несформировавшимися не уровне западных стран нуждами и спросом, тормозит развитие всех отраслей промышленности в странах СЭВ. С политической точки зрения, такая ситуация удобна для Кремля, ибо препятствует сотрудничеству стран-сателлитов с Западом. С экономико-технической же точки зрения, такая политика ничего, кроме вреда, принести не может и самому Советскому Союзу. СССР не один раз использовал свое положение гегемона для политического шантажа. Не случайно поэтому Румыния с такой удивительной твердостью отстаивает свой суверенитет, выступает против доктрины Брежнев (об ограниченном суверенитете социалистических стран), сопротивляется Москве и в рамках СЭВ. Причин этому много, но одна из главных заключается в сравнительной независимости румынской экономики от внешней торговли (низкий уровень оборотов). Поэтому Румыния в экономическом смысле в меньшей степени связана с СССР и может действовать гораздо свободнее. Так, например, она импортирует из высокоразвитых западных стран 59% общего количества ввозимых машин и другого оборудования. Приведем для сравнения соответствующие показатели других стран: ГДР — 25%, СССР — 23%, Венгрия — 22%, ЧССР — 20%, Польша — 19%. Благодаря этому молодая румынская промышленность, уступая по размерам промышленности некоторых других стран СЭВ, во многих отраслях стоит гораздо выше по темпу технического развития, по стандарту и пр. Подводя итог, можно сказать, что темп экономического развития стран СЭВ будет зависеть не столько от степени интеграции в пределах СЭВ, сколько от степени освобождения от экономической зависимости по отношению к СССР и от уровня сотрудничества с высокоразвитыми странами.

IV

В странах СЭВ одинаковый политический строй. В области идеологии произошла значительная интеграция, правда, силой навязанная и поддерживаемая Советским Союзом. Об интеграции же экономической, после долгих лет молчания, заговорили только два-три года тому назад. Старый призыв к «Сотрудничеству, Взаимопомощи и Дружбе» заменен сегодня лозунгом интеграции. Однако провести этот лозунг в жизнь невозможно — по крайней мере в данный исторический момент. О части причин мы уже говорили — трудно объединить так плохо подобранных партнеров. Следующая причина — в области организации производства.

Как известно, Советский Союз принудил братские страны принять свою модель индустриализации, организации производства, управления и планировки. Эта модель предусматривает развитие главным образом тяжелой промышленности, централистскую систему управления и автаркию, охватывающую все звенья промышленности, до предприятий включительно. Этот обязательный во времена Сталина шаблон исказил весь ход промышленного развития. Все страны СЭВ восстановили или же заново создали стелелитейную промышленность, которая требует огромных капиталовложений. В то же время, все эти страны пренебрегли развитием химии (м. пр. так нужными и важными сегодня пластмассами и другими синтетическими материалами). Все партнеры развивали (с разными, впрочем, результатами), машиностроение, «позабыв» о прецизионной промышленности. Польша, никогда не являвшаяся страной ведущей в области станкостроения, производит около четырехсот типов различных станков. Этим объясняется и устаревшая технология производства и отставание конструкторской мысли. Подобное положение и в других странах СЭВ. В сталинскую эпоху считалось, что в связи с надвигающимся вооруженным столкновением с капиталистическим миром, все социалистические страны должны развивать тяжелую промышленность, в случае надобности использовать ее в военных целях и сравнительно независимую. Наследники Сталина и правящие круги стран-сателлитов долгие годы укрепляли сталинскую модель промышленности. Результаты этого печальны. В высокоразвитых

странах сформировались определенные типы заводов, в зависимости от функций, исполняемых в процессе производства. Существуют так называемые монтажные заводы финальных продуктов. С ними сотрудничают фабрики или небольшие заводы, поставляющие части и детали, необходимые для изготовления финального продукта. Такое разделение труда влияет положительно на развитие специализации производства, способствует увеличению производственных серий, облегчает организацию производства и ведет к снижению цен. В странах СЭВ таких финальных заводов очень мало. В большинстве стран, прежде всего в СССР и Польше, заводы представляют собой замкнутые предприятия, изготавливающие, «кроме» финальных продуктов, части и детали, нередко в одном или нескольких экземплярах. На каждом, по существу, заводе имеется, кроме сборочного, механический цех, изготавливающий элементы финального продукта. Есть также инструментальный цех, работающий для собственного завода, и ремонтный цех. Иногда на заводах создаются цехи модернизации, выпускающие — по одному экземпляру — станки или другое оборудование, которого нельзя достать на рынке. Предприятия эти совершенно независимы, но такая автаркия обходится очень дорого. Приведем пример. В Польше штамповкой стальных деталей занимается 400 машиностроительных заводов! Ничего удивительного, что технология штамповки очень примитивна, а издержки производства велики. Как можно интегрировать промышленность, построенную по принципу автаркии и поэтому постоянно борющуюся с непреодолимыми трудностями специализации и кооперации не только в пределах национальных границ, но и в пределах одного сектора? Это все равно, что пытаться согласовать игру симфонического оркестра, где каждый музыкант, будь то пианист, скрипач или арфист, исполняет полностью всю партитуру...

В такой автаркийной промышленности до минимума ограничена самостоятельность важнейших ее звеньев — предприятий и объединений. Даже руководители промышленных отраслей имеют очень ограниченную свободу действий. Эта система исключает возможность принимать быстрые оперативные решения. А от таких решений зависит удача экономической и в особенности внешнеторговой политики. Как скоординировать планы СЭВ, если каждый его член с величайшим трудом согласовывает

собственные годовые и пятилетние планы? Перспективные же 15-20-летние планы еще не вышли из стадии первых неудачных испытаний. Иначе и быть не может, если даже техника планировки — работы сложной и трудоемкой — находится на уровне бухгалтерского щелканья счетами. Неправильная структура промышленности привела, как мы уже сказали, к отставанию в современных областях техники, например в электронике. СЭВ остался далеко позади западных стран в деле применения вычислительных машин и вообще математических методов в экономике. По данным конца 1966 г. в ФРГ работало 2,5 тысяч вычислительных машин, в Англии — 2,0 тысяч, во Франции — 1,6 тысяч. В Польше в то же время этих машин было меньше, чем в крохотной Финляндии — около 90... В других странах СЭВ положение в этом смысле немногим лучше. Но от Запада отделяет их расстояние многих лет. Что это означает? Директор западного предприятия, имеющего электронно-вычислительную машину, ежедневно (а если нужно, то и несколько раз в день) получает исчерпывающие данные о ходе производства — о производительности, издержках, убытках, прибылях и пр. Директор предприятия в социалистической стране, получает такие данные не раньше, чем по истечении месяца. В некоторых странах, например в Польше, полные отчеты по ходу производства становятся известны лишь по подведении квартальных итогов. В связи с примитивной техникой планировки и ее централистскими методами, координация планов СЭВ встречает огромные трудности. Еще не удалось синхронизировать перспективных планов. Даже годовые и пятилетние планы, на основании которых подписываются соглашения, так несовершенны, что требуют постоянных поправок, дополнений, добавочных договоров и тому подобное.

В этих условиях, во многих странах СЭВ поднимается волна недовольства. Появляются сепаратистские стремления. Все чаще делаются попытки ослабления связи со всем блоком или с отдельными партнерами. Этим можно объяснить провал инициативы Советского Союза, предложившего превратить СЭВ в распорядительный центр со сверхгосударственными полномочиями. Против этого предложения выступила Венгрия, но наиболее последовательными оказались румыны.

На сессии румынского Народного собрания в ноябре 1968 г. Чаушеску заявил: «Мы не согласимся ни в коем

случае на отказ от основных прав статута, на предоставление СЭВ сверхгосударственных полномочий, на создание внегосударственных экономических органов». Это правильный подход к делу. В противном случае «экономическое единство» привело бы к потере суверенитета и к торжеству устаревшей и примитивной экономической системы. Вождь румынской партии дал понять, что «социалистический интернационализм» важен, но не в ущерб национальному экономическому расчету. А этот расчет все больше тормозит интеграцию стран СЭВ.

V.

Кто-то сказал однажды, что социализм — очень дорогой политический строй. Перефразируя, можно сказать, что быть членом СЭВ стоит очень дорого, в особенности странам-сателлитам. В доказательство дадим характерный пример. Как известно, СССР выпускает легковые машины «Москвич», «Фиат 124» и других марок. Польша производит «Сирену», «Варшаву», «Фиат 125», ЧССР — «Шкоды», ГДР — «Вартбурги», Румыния и Болгария — «Рено». Итак, эти страны выпускают большое количество моделей, но общее количество машин, изготовленных социалистическими странами в 1967 году — лишь немногим больше 0,5 миллиона. В том же году три государства ЕЭС — ФРГ, Франция и Италия выпустили на рынок 6 млн. 244 тыс. легковых автомобилей. В двенадцать с половиной раз больше! Эти две цифры — 0,5 миллиона и 6 миллионов 244 тысячи — говорят о многом. Прежде всего о разнице в технологии, производительности труда, издержках производства, торговой политике и уровне жизни, который зависит и от цены легкового автомобиля. Цена польского «Фиата 125» — 180 тысяч злотых — равняется 90 средних месячных заработных плат. В магазинах этих машин нет, вследствие недостаточных размеров продукции. Купить «Фиат» можно на черном рынке, заплатив за машину (данные 1968 года) 230-250 тысяч, т. е. 100-110 месячных заработных плат. То же положение в других странах СЭВ. А на Западе цена легкового автомобиля равняется 4, 6, 8, самое большое — 10-тимесячной заработной плате. С одной стороны 90-100, с другой — 6-10 заработных плат...

Эта разница и есть самая объективная и измеримая цена, которую страны восточной Европы платят за экономическую отсталость. А за эту отсталость в большой мере несет ответственность герметически замкнутый союз под названием Совет Экономической Взаимопомощи. В настоящее время нет там ни совета, ни взаимности, ни помощи. Кризис СЭВ — это кризис структуральный, кризис хронический.

АНТОНИ ГУТОВСКИЙ

Студенческие волнения, март 1968

В феврале 1956 года, когда Хрущев произносил свой доклад о культе личности, в Польше уже несколько месяцев длился процесс десталинизации. Партия взяла курс на «оттепель». Политические заключенные амнистировались или реабилитировались, ослаблялся надзор цензуры. Появлялись самокритические признания в «ошибках и извращениях».

Но события опередили партийное руководство.

Общественность требовала радикальных, экономических и политических реформ, полной, а не частичной демократизации общественной жизни, прочных гарантий гражданских прав. Нарастающее стихийно движение вышло из рамок «управляемой либерализации». В июне волнения охватили Познань. Произошла перестрелка, были убиты. Партия перестала контролировать положение. В октябре 1956 года сталинское партийное руководство, напуганное ходом событий, избрало своего бывшего узника Владислава Гомулку на пост 1-го секретаря ЦК.

Гомулка пришел к власти при поддержке большинства народа. С ним, узником сталинского режима, были связаны надежды на демократизацию общественной жизни, политическую либерализацию, экономические реформы. Но одним из первых мероприятий Гомулки был роспуск октябрьских Рабочих Советов, затем закрытие прогрессивно-

го студенческого еженедельника «По prostu». За этим последовало подавление забастовки трамвайных работников в Лодзи и официальное осуждение «ревизионистов», т. е. либеральных элементов в партии. В последующие десять лет новое партийное руководство придерживалось той же политики. Партия поставила себе как главную задачу — усмирение всех проявлений оппозиции, по отношению к режиму. Подавление забастовок (впрочем, немногочисленных), суровые меры наказания для их организаторов, процессы писателей, публикующихся за границей, суровые приговоры распространителям «запрещенной литературы» и процесс Яцека Куроня и Кароля Модзелевского, авторов «Открытого письма партии», марксистского анализа современной Польши — вот последовательные этапы укрепления власти «центральной политической бюрократии» (по определению тех же Куроня и Модзелевского). Но еще до 1967 года существовали две «непокорные» группы: писатели и студенты. Обе эти группы были ограждены от широкой общественности предохранительным кордоном полиции и доносчиков. В благоприятных, однако, условиях они могли сыграть роль взрывателя. Такими «благоприятными» условиями было ухудшающееся из года в год экономическое положение страны. На протяжении последних нескольких лет на 100% подорожали каменный уголь и электричество. Цены мяса возросли на 40%, остальных продовольственных продуктов — от 20-ти до 60-ти %.

Наступление партийного аппарата началось осенью 1966 года. Профессор Лешек Колаковский прочитал в Варшавском университете публичную лекцию, посвященную годовщине «польского октября». Колаковский доказывал, что все это десятилетие было периодом систематического отступления с позиций, завоеванных в 1955-56 гг. Студенты в своих выступлениях приняли сторону Колаковского. Колаковский был исключен из партии, ряд студентов лишили студенческих прав. Несколько десятков писателей выступило в защиту Колаковского. Большинство из них были за это выброшены из партии. Некоторые из писателей в знак протеста сами отдали свои партбилеты. К репрессированным студентам пришли на помощь их товарищи — более 1000 студентов и более 100 научных работников подписали заявление ректору университета. Дело против студентов было прекращено, лишь одного из них на год лишили студенческих прав.

Но в 1967 году напряжение в Варшавском университете продолжало расти. Союз Социалистической Молодежи (ЗМС) неосмотрительно возобновил деятельность Дискуссионного клуба. Этот клуб стал местом выступлений для политически сознательной молодежи, критически оценивавшей польскую действительность. Этих студентов ЗМС назвал «десантниками» за их весьма неприятный обычай задавать хлопотливые вопросы в самое неподходящее время. «Десантников» объединяла вера в подлинные идеалы социализма.

Осенью 1967 года, после дискуссии на тему «50-летие внешней политики СССР» клуб был закрыт. Студенты резко критиковали политику СССР по отношению к Китаю (1920-30 и 1945-48 гг.), Испании (1936-38), Польше (1939), Греции (1945), Венгрии (1956). Выступающие доказывали, что внешняя политика СССР всегда определялась его личными интересами в ущерб международному рабочему движению и пришли к выводу, что Советский Союз сегодня является империалистической державой.

В ноябре 1967 года несколько студентов Варшавского университета написало и распространило листовку, касающуюся войны во Вьетнаме. «... Вьетнамцы сражаются за дело, понятное и близкое нам: за право на революцию, уничтожающую социальное порабощение и его следствие — национальную неволю; за освобождение от эксплуатации и внутренней диктатуры; за независимость малых народов по отношению к великим державам... Поэтому мы, левое крыло польского общественного движения, не можем молчать». Годом позже, текст этой прокламации был частью обвинительного акта.

В то же время полиция усилила бдительное наблюдение за студенческой средой. Студенты собирались в частных квартирах, дискутируя о Марксе, Ленине, Троцком, о теоретических проблемах марксизма. Многие из них вызывались в полицию. Их «предостерегали». «Разве это по-марксистски — вести подпольные дискуссии?» — спросил позднее судья во время одного из процессов.

В январе 1968 года, когда пришли первые вести о «чешской весне», по Варшаве разнесся слух о том, что цензура решила запретить пьесу А. Мицкевича «Дядя». Публика слишком живо реагировала на такие, например, слова:

«Я буду свободен. Я не знаю, кто принес эту новость. Но я знаю, что значит получить свободу из рук русских.

Мерзавцы, они снимут оковы с ног и рук, но закуют душу...»

В день последнего представления пьесы, 30. 1. 68, примерно 150 студентов собралось около театра. С транспарантом «Требуем дальнейших представлений!» они прошли от театра к памятнику Мицкевича. Около 40 демонстрантов было задержано. В ускоренном порядке семеро из них были приговорены к штрафу за «нарушение порядка». Надо сказать, что демонстрация имела место в 12 часов ночи на совершенно пустой площади. Вслед за тем власти распустили слух, что пьеса снята по «приказу Москвы». Это должно было направить всеобщее негодование на «русских угнетателей», прикрывая настоящих виновников. Студенты выпустили листовку:

«Неправда, что запрещение пьесы «Дядя» связано с вмешательством советского посольства. Доказательством является положительная рецензия, появившаяся в «Правде» 30. 1., т. е. в день последнего представления. Пример с «Дядями» ясно доказывает, что цензурный надзор над освободительно-демократическими тенденциями, независимо от причин, которыми этот надзор вызван, превращается в цензуру национально-освободительных традиций». По ходу событий оказалось, что запрещение «Дядюв» было одним из элементов старательно приготовленной провокации.

Ректор Университета начал дисциплинарное разбирательство дел оштрафованных студентов. Запрещены были собрания ЗМС и Союза Польских Студентов (ЗСП) на территории Университета — из опасения, что на этих собраниях будут говорить о запрещенной пьесе.

Тем временем в Университете, а затем и в других вузах студенты собирали подписи под заявлением в Сейм, требующем возобновить постановку «Дядюв». Несмотря на энергичные действия полиции и парторганизаций, на одном лишь Университете из 12 тысяч студентов свыше 4-х тысяч подписали заявление. Польские законы и конституция разрешают гражданам подписывать петиции. Поэтому полиция просто-напросто выкрадывала списки с подписями.

Положение на Университете становилось все более напряженным. Студенты требовали созыва общего собрания, переговоров с ректоратом, объяснения действий полиции. Продолжалось распространение листовок. Чаще всего встре-

чалась лаконическая прокламация: «Статья 71-ая Конституции ПНР говорит: Польская Народная Республика гарантирует гражданам свободу слова, печати, собраний, митингов, демонстраций и манифестаций». Появлялись листовки, информирующие о репрессиях, протестующие против действий властей. Внезапно объявились антисемитские листовки, совершенно очевидно написанные полицией.

4 марта ректор, вопреки университетским правилам, исключил двух студентов за их политическую деятельность на территории Университета. Товарищи исключенных студентов призвали к общему митингу. Воззвание получило широкую поддержку. 8-го марта на территории Варшавского университета собралось около 3-4 тысяч студентов. Но они не были одни. В обширном внутреннем дворе Университета и вокруг него стояли сотни полицейских в штатском и членов так называемой «рабочей милиции». Студенты приняли резолюцию, осуждающую нарушение конституции, протестующую против действий полиции и университетских властей и требующую дать исчерпывающий ответ в течение недели. Ректор обещал созвать открытое собрание в ближайшие дни. После этого студенты начали спокойно расходиться. Тогда на территорию Университета ворвалась милиция — в мундирах и в штатском. Началось избиение. Старались бить главным образом женщин. Милиция не старалась разгонять уже несуществующий митинг. Наоборот — с большим трудом, при помощи дубинок, ей удалось сформировать что-то вроде демонстрации. Группу 200-300 студентов погнали под здание ЦК партии. Целью провокации было раздуть значение и размеры студенческих выступлений, чтобы затем развернуть широкую пропагандистско-полицейскую кампанию. Организаторы не подозревали, однако, что волнения в течение нескольких дней охватят всю страну. Избиение студентов продолжалось больше часа. Были многочисленные раненые. Говорили об убитой девушке. В тот же день студенты Политехнического института, узнав о расправе, двинулись по направлению к Университету. Демонстрация была разогнана полицией.

Еще 8-го марта полиция произвела ряд арестов. Задерживались студенты, принимавшие участие в демонстрации, даже те из них, кто не оказывал сопротивления. Но кроме того, было задержано около 20-ти человек на основании заранее составленных списков. Уже на следующий

день печать выступила с толкованием событий: группа молодежи еврейского происхождения по наущению сионистов, литераторов (sic!) и других политических банкротов организовала ряд хулиганских выступлений в столице. Приведено было несколько фамилий. Часто фамилии эти принадлежали людям, ничего общего с митингом не имевших. В числе «организаторов» митинга оказалась девушка, уже несколько месяцев находившаяся в Париже. Ее отец был одним из высоких чиновников, предназначенных к увольнению. Фамилии других цитировались либо в связи с их еврейским звучанием, либо потому, что родители этих студентов занимали ответственные посты. После того, как студенты прочли газетные «разъяснения», вспыхнуло негодование. Тысячи студентов собрались возле зданий, где помещались редакции газет, и там жгли газеты, скандируя: «Пресса лжет». Весть о расправе, учиненной над варшавскими студентами разлетелась молниеносно во все концы страны. Всю следующую неделю студенты всех университетских центров манифестовали. Сначала это были лишь протесты против избиения варшавских студентов и нарушения 71 статьи Конституции ПНР. Однако реакция властей и создававшаяся атмосфера политической борьбы обострили всеобщее недовольство. Листовки и выступления на митингах приобрели более глубокий характер. Критике подвергаются все области политической и экономической жизни в Польше. Студенческие выступления касались уже не только соблюдения конституционных статей. Выдвигаются требования «подлинного социализма», уничтожения экономического централизма, полицейского террора, студенты домогаются всенародного обсуждения будущего страны. Сами названия листовок свидетельствуют о широком диапазоне студенческой критики и требований: «Гражданские права снова в опасности», «Нет хлеба без свободы», «Фашизм не пройдет», «Нам нужна свобода», «Легальная оппозиция», «Что делать дальше?», «О молодежных организациях», «Законы и законность», «Об однопартийной системе». Ответом были, однако, лишь дубинки, слезоточивый газ и полицейские псы. В нескольких городах к студентам присоединились рабочие. Во Вроцлаве рабочие не впустили «рабочую милицию» на территорию университета, в Новой Гуте рабочие организовали демонстрацию, разогнанную с помощью полицейских собак. Более 100 человек было ранено — искусано собаками. Но настоящей

солидарности рабочих и студентов не могло быть. В течение 25-ти лет удалось добиться атомизации рабочего класса, искоренить довоенные традиции стачек, солидарной борьбы. Тем не менее, рабочие симпатизировали студентам: перед вузами, занятыми бастовавшими студентами, собирались толпы. Люди приносили бастующим еду, сладости, цветы... Характерными были газетные фотографии так называемых «массовых митингов осуждающих смутьянов». Под сотнями транспарантов стоят скучающие, угрюмые рабочие.

Тем временем партия разворачивает в широких масштабах политическую кампанию. Не умея найти лозунга, который мог бы объединить народ, партия развязывает антисемитскую травлю, именуемую «антисионистской кампанией». Лозунг общеизвестен: во всем виноваты евреи (называемые сионистами). С большим шумом с работы выкидываются сотни людей еврейского происхождения, занимавших высокие и средние посты, а затем тишком увольняются тысячи «сионистов», а также «сторонников сионизма», т. е. те, у кого происхождение «в порядке», но зато «не в порядке» взгляды. Пресса безумствовала, выискивая и «срывая маски» с «сионистов» и «ревизионистов». Инициатива выскользнула из рук тех, кто первыми подали сигнал к действию. Кампания вышла из предусмотренных рамок: лодзинский горком издал печальнознаменитые «Протоколы сионских мудрецов», сфабрикованные еще царской охранкой. Провинциальная пресса, не чувствуя тонкостей, перестала делать различие между «сионистом» и «евреем» и в душевной простоте писала о преступлениях евреев, что вызвало скандалы на Западе. Средний партактив стал потихоньку намекать, что в связи с «очисткой страны от сионистов» не худо было бы заняться женой Гомулки и Спыхальским (у этого последнего семитский профиль). Но Гомулка, для которого расправа с сионистами была лишь средством, а не целью, подал сигнал к отступлению. Старательно подготовленная кампания подходила к концу. Ее несомненным положительным результатом в глазах организаторов была терроризованная общественность, демонстрация силы, предотвращающая попытки следовать примеру Чехословакии, чистка в партии, разгром писателей и студентов. Однако успех не был полным. Рабочие не приняли участия в «игре», отказывались верить тому, что экономические трудности, взвинченные доотка-

за производственные нормы, дороговизна — все это дело рук «сионистов». Во время кризиса рабочие оставались пассивными, но это была пассивность, враждебная по отношению к властям.

В марте и в первой половине апреля во многих высших учебных заведениях страны возникли Студенческие комитеты, избираемые всеобщим голосованием. Эти комитеты должны были представлять всех студентов и согласованно вести протестационную деятельность. Состав комитетов менялся ежедневно — их члены поочередно оказывались в тюрьмах. На одном лишь Варшавском университете в течение двух месяцев было арестовано около четырехсот студентов (из которых половина провела в тюрьме по крайней мере 4-5 месяцев, а около 30-ти студентов сидели еще дольше), около двухсот студентов было исключено из Университета, а около пятисот — выслано в штрафные военные лагеря. После всего этого на Университете воцарилось спокойствие, но спокойствие опасное.

Чистка партийного аппарата освободила множество постов, которые были захвачены деятелями молодыми и энергичными, но не внушающими особого доверия. В ажиотаже они зашли слишком далеко и принудить их к послушанию было нелегко. В результате перед 5 съездом партии разгорелась напряженная борьба, во время которой Гомулку нещадно критиковали за недоведение до конца начатой им самим мартовской кампании. Общественность, действительно, увидела и оценила продемонстрированную ей силу аппарата, но это лишь углубило пропасть между народом и аппаратом. Партия, как и раньше, оказалась в одиночестве. Введение позаимствованных из СССР методов террора также не принесло ожидаемых результатов. Людей не выкидывали с работы просто так, а организовывали собрания, на которых увольнение решалось всеобщим голосованием. Очень часто предложение не принималось единогласно. Того, кто не голосовал надлежащим образом, на следующий день тоже выкидывали, но все-таки после месяца общих собраний партия вернулась к старому методу увольнений под сурдинку.

Осенью 1968 года начались процессы студентов, получившие широкую огласку в печати. Это был как бы последний акт мартовской трагедии. Правда, уже с марта велись процессы студентам, обвиняемых в «распространении фальшивых сведений» (т. е. в редактировании и рас-

пространении листовок) и «нарушении общественного порядка» (т. е. участия в студенческих демонстрациях). В этих процессах было осуждено около 1000 студентов (сроки от 3-х месяцев до 3-х лет), тем не менее пресса хранила о них полное молчание. Теперь было решено заклеить «настоящих виновников» мартовских событий. Перед судом предстали Яцек Куронь, Кароль Модзелевский и одиннадцать студентов, обвиняемые в «участии в организации, скрываемой перед государственными властями». Полиция тщательно подготовила процессы. Зная, что никакой тайной организации не было, полиция действовала известными и испытанными методами: подделывались записки заключенных, сами заключенные шантажировались, им предлагали освобождение взамен за фальшивые показания, арестованных допрашивали то как обвиняемых, то как свидетелей. Еще до начала процессов печать доказывала вину обвиняемых, описывала их преступные якобы действия, цели, тайные кружки и пр.

Но процессы окончились триумфальной победой обвиняемых. Ни одно обвинение не удержалось. Свидетели отказывались от данных в тюрьме показаний против обвиняемых, рассказывали о методах следователей, принуждавших к ложным признаниям. Обвиняемые обвинительного акта, пользовались судебной трибуной для высказывания своих политических взглядов и обвинения власти. Еще раз оказалось, что суд — это единственное место, где можно сказать то, что думаешь. Полностью отпало предъявленное Куроню и Модзелевскому обвинение в связях с IV Интернационалом (т. е. обвинение в «троцкизме», известное со времен московских процессов). Даже судьи не могли поверить в его обоснованность. Все подсудимые были признаны виновными и осуждены на тюремное заключение сроком от 18-ти месяцев до 3,5 лет, но для обоснования приговоров (всего процессов было пять), суды должны были прибегнуть к такого рода формулировкам: «Следует признать, что в отдельности все действия подсудимых (сборка подписей под заявлением в Сейм, встречи в частных квартирах для дискуссий и именин и организация митинга) легальны, взятые же вместе эти действия — **нелегальны**». Или же: «Возможно, что не все подсудимые отдали себе отчет в существовании организации, необходимо, однако, отметить, что организация **объективно** су-

ществовала». Куронь и Модзелевский произнесли речи, каждая из которых длилась более десяти часов. В этих речах они поддерживали свой анализ положения в Польше, представленный в «Открытом письме», дополнив его последними событиями — со времени их первого ареста до интервенции в Чехословакии. Суд все выслушал, но приговорил каждого из них к 3,5 годам тюрьмы. Процессы велись фактически при закрытых дверях. Лишь немногим друзьям обвиняемых, после ожидания в очереди с 6-7 часов утра, удавалось попасть в зал, где большинство мест было занято работниками МВД. Пресса сознательно давала лживые отчеты о ходе процессов, выворачивая наизнанку выступления подсудимых и свидетелей.

Все осужденные, кроме Куроня и Модзелевского, вышли на свободу самое позднее в июле 1969 года в связи с амнистией, объявленной на 25-летие ПНР.

Однако уже весной 1969 года началась новая серия процессов — на этот раз студентов, обвиняемых в активном протесте против интервенции стран Варшавского договора в Чехословакии. Было осуждено более десяти человек (на сроки от 9 месяцев до 2 лет), а более двадцати сидело без суда около полугода в тюрьме. Поводом было составление и распространение нескольких сотен листовок, призывающих вывести войска из Чехословакии. Начинались листовки знаменитыми словами Маркса: «Не может быть свободным народ, который угнетает другие народы». Польская молодежь приняла агрессию в Чехословакии как унижение своей страны ее правителями, как удар против того, за что они всего несколько месяцев назад, в марте, боролись, как очередное отречение на практике от идей социализма и интернационализма. Поражение демократического и либерального течения в марте, а затем трагедия Чехословакии нанесли тяжелый удар всем, кто еще верил в возможность диалога с властью, в возможность осуществления политических и экономических реформ путем уступок со стороны режима. Открывая свое настоящее лицо, режим объявил во всеуслышание: Мы предпочитаем фашизацию страны, а не либерализацию; тем, кому это не нравится, «мы поломаем руки» (выражение из речи члена Политбюро Герека); у нас достаточно сил для того, чтобы не допустить до «варшавской весны», а в случае чего, «братские страны» окажут нам такую же помощь, как и Чехословакии. Все это правда, и с этим вынуждена была

примириться оппозиция в Польше. Ибо 1968 год оказался весьма поучительным; в марте и августе было преподаано несколько уроков: во-первых, режим не является партнером в дискуссии, во-вторых, у режима есть полицейская сила и мощь газетной пропаганды, которым пока нечего противопоставить. Но есть и третий урок: общественность накопила много недовольства, которое следовало бы правильно направить. Мартовское движение было стихийным, неподготовленным, его характер формировался во время борьбы, у студентов не было никаких связей с другими общественными кругами и прежде чем им удалось войти в переговоры с рабочими, они потерпели поражение.

Но самый важный урок был дан в августе: все страны так называемого «восточного блока» — это система замкнутых сосудов, все перемены должны в них происходить одновременно, ибо опасность для партийной элиты одной страны угрожает в то же время «братским партиям» и поэтому они всегда готовы прийти друг другу на выручку. Поражение Чехословакии — вина не только армий стран Варшавского договора, но и всей прогрессивной части общенности — польской, венгерской, советской, которая не поддержала чехов. Мы должны были сделать все возможное для того, чтобы не допустить агрессии. Весна в Чехословакии была и для нас надеждой на оттепель.

Быть может, еще долго не удастся нам добиться тех изменений, о которых мы мечтаем, но борьба должна продолжаться. Надо бороться, чтобы общественность не застыла в апатии, страхе, отчаянии, чтобы режим не чувствовал себя безнаказанным. Поэтому мы относимся с таким уважением к ген. Григоренко, Ларисе Даниэль, Андрею Амальрику и сотням других русских, которые не хотят молчать. И поэтому Козловский, Карпиньский и их товарищи пошли недавно в тюрьмы за попытки продолжать мартовские традиции и за предвыборный лозунг: «Вы сами правите — сами выбирайте».

Книги

Над догматом

Говорить о сжатой красоте стиля или утонченной проницательности мысли Колаковского — значит повторять прописные и давноизвестные истины. Все это сразу же бросается в глаза и не вызывает сомнений. То же можно сказать и о роли Колаковского в освобождении современной польской общественности от ленинско-сталинской мифологии и догматизма, о неумолимости, с которой он это делал не только во время «польского Октября», но и после него, что было важнее и требовало большего мужества. Как мы знаем, этот Октябрь не оправдал возлагавшихся на него надежд, принявшись укреплять «законные» автономные права партийной бюрократии в рамках польского государства.

Даже в том случае, если бы вышеперечисленные достоинства Колаковского не были оценены уже давно и если бы я был профессиональным литературным критиком, философом или историком, я не стал бы задерживаться на них. Мне кажется, что эти неоспоримые и выдающиеся качества все-таки не являются тем, что наиболее отличает Колаковского от всех писателей и мыслителей, критикующих в коммунизме коммунистический догматизм и противоречие между коммунистическими идеалами с одной стороны, привилегиями и беспринципностью партийной бюрократии — с другой.

Определение именно этой отличительной черты Колаковского важно и необходимо как для более полной оценки его творчества, так и для осознания того, что делает это творчество жизненным и актуальным в современной мысли, а прежде всего в коммунистической мысли.

Колаковский прошел все фазы, типичные для «еретиков» коммунизма: увлечение «сталинизмом», моральный бунт против лживости и ужасов сталинизма, возвращение к источникам марксизма — к «молодому Марксу», которого, кстати, Колаковский «открыл» одним из первых. Несмотря на то, что такое развитие кажется типичным, в нем именно следует искать то, что в Колаковском-человеке и Колаковском-мыслителе берет начало в коммунизме и других структурах.

Однако, прежде всего, надо разобраться в действительном смысле ярлыков «сталинист» и «сталинизм», которые наклеиваются на всех без исключения бывших коммунистов, невзирая на то, были ли они и по каким причинам сторонниками Сталина и его методов. Для меня несомненно, что эти ярлыки, впервые появившиеся в холодную войну — период напряжения и упрощений, превратились в стереотипные формулы, тормозящие в наше время демократические перемены в коммунизме, затрудняющие «отрезвление» и, следовательно, помогающие партийным вельможам пользоваться «десталинизациями», «ресталинизациями» и мешающие всякой основательной критике и реальным реформам...

«Сталинизм» — это мифоманская формула, за которую ухватились нынешние коммунисты (да и не только они), так же, как в свое время «сталинисты» ухватились за «ленинизм». «Сталинизм» — не «ошибка», это марксизм, доведенный до своего логического завершения.

Одно то, что марксизм, т. е. коммунизм, верит в свою научность, отрицает возможность какого-либо преобразования марксизма в другой коммунизм, не являющийся в той или иной степени, в том или ином смысле «сталинизмом». И наоборот: распад «сталинизма» — это распад марксизма как идеологии и коммунистического «социализма» как социальной системы. Для нас же, дифференциация причин, побуждавших следовать за Сталиным имеет значение не только с моральной точки зрения, но и при изучении разных тенденций и возможностей. Большая разница, был ли кто-нибудь «сталинистом», ибо верил, что Сталин воплощает и продолжает идеи Маркса или был сталинистом потому что сросся со сталинской властью и ее методами. В первом случае речь идет о революционерах и идеалистах, во втором — о бюрократах и политических карьеристах, использующих распад сталинских форм для

собственного возвеличения. Этим я не хочу, однако, сказать, что революционер лишен недостатков или что идеализм в политике не может оказаться более жестоким по отношению к людям и народам, чем самый эгоистический и близорукий реализм. Тем не менее, нельзя упускать из виду, что «сталинские» идеалисты и революционеры могут начать — в действительности уже давно начали — критику «сталинизма» изнутри, а значит критику марксизма и коммунистических отношений. В то же время партийная «реформаторская» и «либеральная» бюрократия реагирует на это дальнейшей монополизацией власти. Явление не новое в истории, но новое в коммунизме: если еретики не извлекают выгоды из реформ — а может быть, именно поэтому, они оказываются зачинателями этих реформ...

«Неосталинские» и «антисталинские» бюрократы стоят, вне всякого сомнения, на более сильной позиции «реальной» политики, цель которой удержаться у власти. Но будущее принадлежит не им: они могут, в лучшем случае, подготовить изменения действительности, которую они сохраняют, пытаясь «приспособиться». Внутренняя критика стирает с действительности ее мистический, идеализированный блеск, и тем самым лишает ее основ и указывает новые пути. Ибо эта критика идет не из внешнего, чужого мира, она порождена злом и самообманом самого коммунизма. Бюрократы могут заглушать эту критику, но они не в состоянии ее искоренить, так как она является следствием коммунизма, его сути... Советские бюрократы могли перекричать философа Бердяева, но они не в силах этого сделать с писателем Солженицыным, хотя и нет в нем бердяевских глубин и истин: первый был с самого начала их противником, второго породила их собственная система...

Нет нужды подчеркивать, что Колаковский принадлежит к идейному слою бывших «сталинистов». То же можно сказать и о других выдающихся теоретиках современного марксизма: Георге Лукаче, Герберте Маркузе, Роже Гароди и т. п. Всех этих мыслителей кремлевские цензоры марксизма считают ревизионистами и ренегатами... Но кремлевские бюрократы — это всего лишь бюрократы и ничего больше, ибо они лишены чувства восприятия нюансов — для них однородно все то, что хотя бы в малейшей степени отличается от их понятий... Но вышеназванные философы и другие теоретики марксизма несходны между со-

бой — каждый имеет свое значение, свои ценности в рамках марксистской литературы и коммунистического движения.

Между этими мыслителями и Лешек Колаковским существует, однако, большая и принципиальная разница. Все они сводили и продолжают сводить «сталинизм» к искажению «хорошего» Ленина и «безупречного» Маркса. Никто из них не отважился мыслить по-настоящему самостоятельно, т. е. мыслить, не оглядываясь на полученные в наследство марксистские «каноны» либо на определенные условия. Я не намереваюсь упрекать этих теоретиков в том, что они не «заметили» устарелости и утопического характера марксовских формулировок. Я не собираюсь также ставить им в вину то, что они не «отказались» от марксизма. Дело в другом: эти мыслители, как марксисты, т. е. оставаясь в рамках марксизма, — насколько мне известно, Колаковский оставался в тех же рамках до того, как его вынудили в 1968 году покинуть Польшу, — поступают не как искатели правды, а как сторонники унаследованного и нерушимого догмата. Поэтому никто из них не был способен не только предвидеть, но и просто увидеть марксистские (а уж наверняка ленинские) корни сталинизма, определяющие силу и смысл самого сталинизма и без осознания которых невозможно понять сегодняшние течения в коммунистическом движении. По этой причине критика «отступниками» сталинских извращений, — а извращения, несомненно, были — остается бесплодной. Все они питают надежду — вместо того, чтобы анализировать; они не стремятся к полному осознанию явлений, а гневаются. Их правды остаются полуправдами. Они умеют и анализировать и видеть, но никто из них не осмелился разрушить унаследованный, удобный собственный мир. Поэтому никто из них не стал подлинным творцом. Впрочем, они и не желают ничего более, как «продолжать» и «развивать» изначальный догмат.

Колаковский¹⁾ не остановился ни перед одной из «священных» правд. Он все продумал самостоятельно и — благодаря этому — творчески. Поэтому ему не надо было «отказываться» от марксизма или «замечать» его нереальность. Он шел за собственной совестью и своим — не очень глубоким, насколько я знаю, — чувством прекрасного. Вместо того, чтобы оправдывать и спасать унаследованные теории, он изучил их. Догмат, в рамках которого Ко-

лаковский жил и развивал свои мысли, распадался в его сознании и, распадаясь, стимулировал на поиски новых, творческих путей. В сознании и для сознания Колаковского догмат превратился в крепость и оковы и тем самым при- нуждал его к все новым и новым интеллектуальным усилиям, к внутренней моральной борьбе. Колаковский полон страсти, но далек от ненависти. Его работы омрачены меланхолической иронией, но нет в них ни горечи, ни досады. Его критика, хотя исходит из явлений действительности — «ошибок», «извращений», «уклонов» — всегда охватывает самую суть — догматизм и связанное с ним насилие как общечеловеческие феномены, а в культуре европейской — как феномены губительные для современного человека и современной технологии. По существу, он даже не «ревизионист», а реформатором его можно назвать лишь имея в виду политическую и общественную деятельность. Колаковский — это просто мыслитель, который догмата не «отбросил» а в своем творчестве прошел над ним.

Для Колаковского характерно как раз то, что он критиковал не марксизм, но вопреки марксизму, а чаще всего параллельно марксизму или даже, оставаясь в марксистских рамках, развивал новые идеи и понятия. Он открыл тематическую и причинную преемственность между средневековой схоластикой и современными догмами, сделав это с такой очевидностью, что никто не может усомниться в том, что в первую очередь это относится к марксизму. Многие авторы до Колаковского обращали внимание на схоластическую сторону марксизма, а тем самым «ленинизма» и «сталинизма». Но только Колаковский доказал постоянство и прочность этой черты как одной из черт европейской общественной и философской мысли.

Поэтому Колаковский не отступил ни перед одной из священных и нерушимых марксистских правд. Сокрушающая сила его логики и проницательности, как кажется, не имеет границ. Таким образом, оставаясь внутри марксистской структуры, из нее развивая свои многие тезисы, Колаковский подрывает ее основную базис — теорию о примате материи²⁾ и о закономерности исторического развития³⁾. Марксистская догматика и «социалистическая» действительность Польши и восточной Европы устами Колаковского провозгласили новые правды. Колаковский утверждает этим самого себя и — по-новому — старую извеч-

ную уверенность человечества в том, что всякий догмат бессилен и неэффективен в столкновении со свободным, творческим духом. Определив место современных догм в процессе исторического развития Европы и европейцев, продемонстрировав бесполезность этих догм для современного человека — Колаковский показал, что как мыслитель он принадлежит не только Польше, восточной Европе и марксистской «ереси», но современной мысли в целом.

Правда, что Колаковский своими часто нереальными размышлениями над практическим выходом из тупика «всеведения» и «всесильности» партийной бюрократии, мог дать «новым левым» бюрократам возможность опереться, в частности, и на его теории. Но то, что в нем самое важное — неоспоримость духовной и личной свободы — никогда не принадлежало и не может принадлежать тем, кто снова пытается осчастливить человечество, пользуясь старыми, испытанными методами насилия. Ибо главный внутренний мотив творчества Колаковского — это отважные и критические поиски, т. е. свобода. Все же другие современные ученые и доморощенные революционеры не предлагают ничего нового, кроме того, что уже было испытано разными народами и оказалось невозможной для претворения в жизнь, кровавой и реакционной утопией, от которой отреклись бы ее собственные творцы, если бы у них хватало разума и достоинства.

Многие подчеркивали, что Колаковский не современный философ в узком смысле этого слова. Никто не может, однако, оспаривать его новизны и оригинальности в тех рамках и условиях, в которых он работал. Более того, с этой точки зрения он представляет собой, быть может, оригинальнейшее философское явление «социалистической» восточной Европы.

Мое критическое мышление развивалось путем, похожим на путь Колаковского, преимущественно, однако, непосредственно из политического опыта и в литературных образах. Марксистская же философия все еще не прошла сквозь огонь созидательной критики, критики, выросшей из действительности и ее структуры. Вклад Колаковского в эту критику особенно важен, но его работа не окончена. Ни в восточной Европе, ни даже в мире не появился пока никто, способный дойти до конца — может быть, это делает Колаковский? Причиной моего восхищения Колаковским, когда я познакомился с его сочинениями в тюрьме,

была эта надежда. Но даже зная, что она может не оправдаться, я был полон уважения к его таланту и независимости. Ибо Колаковский открывает и дарит новое восприятие и новые человеческие ценности. Я уверен и надеюсь, что он — один из неутомимых, хотя и трагических создателей будущих побед и правд о человеке, вышедших из мрака насилия и догматических ледяных оков.

1) Автор ссылается здесь на следующие книги Лешека Колаковского: «*Marxism and beyond*» Pall Mall Press. London 1969, и «*Filozofski eseji*» Beograd 1964.

2) «...ибо наши мысли о действительности также являются частью действительности, не менее важной, чем другие...». («*Marxism and beyond*» стр. 56).

3) См. «Ответственность и история» в «*Marxism and beyond*», а также «Когито, исторический материализм и экспрессивная интерпретация индивидуума» в «*Filozofski eseji*».

Милован ДЖИЛАС

Падение советской империи

Утром 21 мая к маленькому домику в деревне Акулово, километрах в ста от Москвы, подъехало сразу четыре автомашины. Из одной машины вышло двое мужчин, постучали в дверь и назвали себя агитаторами. Когда дверь открылась, они вошли в избу и позвали еще двенадцать человек, сидевших в автомобилях. Оперативная группа КГБ явилась арестовать писателя Андрея Амальрика.

Уже проделавший однажды весь этот путь, Амальрик проверил документы у всех «агитаторов». Половина из них оказалась сотрудниками свердловского КГБ. Амальрик был увезен в Москву, а оттуда видимо поедет в Свердловск, где, якобы, был обнаружен рукописный экземпляр его книги «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» Судить, следовательно, будут писателя в далеком уральском городе — без ненужных свидетелей, вдалеке от иностранных корреспондентов.

Книга, или, как предпочитает называть ее автор, статья «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года» была написана ровно год назад. Появившись сначала в «самиздате», она очень быстро попала на Запад, вышла на русском языке в Амстердаме, затем была переведена на английский, немецкий, французский, голландский и другие языки. О работе Амальрика написаны уже десятки статей. Эссе молодого советского историка вызвало всеобщее недоумение и всеобщее неодобрение. Против его книги единодушно ополчились все русские патриоты: советские и антисоветские. его книга вызвала недовольство профессиональных кремлевцев, ибо ломала все их концепции. Недоумение, неодобрение и недовольство вызвали как содержание книги, так и поведение автора.

Надо признать, что поведение было совершенно неортодоксальным. Советский гражданин открыто выступал с оппозиционными взглядами, послал свою работу за границу, подписав полным именем, сообщив одновременно домашний адрес. Можно ли быть свободным в условиях тоталитарного режима? Андрей Амальрик утверждает: можно, нужно только хотеть быть свободным. В своем письме в журнал «Дер шпигель», написанном незадолго до ареста, Амальрик излагает свое кредо: «До сих пор я действительно пользуюсь более широкой свободой, чем многие советские граждане. Но этой свободе я обязан себе самому. Я хочу быть свободным — поэтому я действую так, как каждый свободный человек может и должен действовать... Даже в тюрьме, даже если меня посадят в тюрьму, я надеюсь быть свободнее миллионов моих и ваших соотечественников, которые «на свободе» орали «ура» Сталину и Гитлеру...»

Понятие «свободный советский человек» не укладывается в умах десятков тысяч исследователей, изучающих на Западе различные аспекты истории и жизни Советского Союза. Амальрику было отказано в праве быть свободным. Пополз, умело распространяемый слух, что автор книги «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» агент КГБ, «Я думаю, — писал Амальрик, — что слухи о том, что я являюсь агентом КГБ распространяются самим КГБ, частично через их людей в русских эмигрантских организациях на Западе».

В западной печати появились многочисленные статьи, открыто называвшие Амальрика агентом КГБ, утверждав-

шие, что единственным опровержением подозрений может быть арест писателя. В апреле 1970 г. в «Нью-Йорк Таймс Мэгэзин» либеральный профессор Альберт Перри негодовал: «Несмотря на свою оппозиционность, Амальрик не арестован, тогда как другие даже не столь крайние оппозиционеры, не проповедующие измены, как это делает Амальрик, гниют в тюрьмах, концлагерях и сумасшедших домах».

Замечательный поэт-песенник Александр Галич отвечал на подобные упреки, обращенные к нему: «Ну, а если бы я гнил в Сучане, Вам бы легче дышалось, что-ли?»

Видимо теперь, после ареста Андрея Амальрика, легко вздохнут все те, кто в течение года кричал: «Арестуйте его!»

Можно думать, что статья Амальрика оказалась неожиданностью и для КГБ, не сразу понявшего, что «с этим фантом» делать, и решившего попытаться использовать статью в своих целях. Мы видим, что в определенной степени КГБ это удалось, ибо даже такие, казалось бы, знатоки русской истории, как проф. Перри стали утверждать, что Амальрик «проповедует измену». Каждый внимательный читатель его работы сразу же увидит, что ни о какой проповеди и ни о какой измене в книге нет и речи.

Амальрик никого не в чем не убеждает, ничего никому не доказывает. Это изложение мыслей историка, человека бесстрашно додумавшего свои мысли до логического их завершения. Этим завершением является, по мнению Амальрика, гибель русского государства, гибель «великой восточнославянской империи». И если можно сомневаться в точности прогноза, то нельзя не восхищаться афористической выразительностью его итоговой формулировки: «Как принятие христианства отсрочило гибель Римской империи, но не спасло ее от неизбежного конца, так и марксистская доктрина задержала распад Российской империи — третьего Рима — но не в силах отвести его».

По необычности, неожиданности, дерзкой смелости статью Андрея Амальрика можно сравнить лишь с одним только произведением в истории русской политической публицистики — с «Философическим письмом» одного из крупнейших русских философов XIX в. Петра Чаадаева. Реакционер Николай I велел объявить Чаадаева сумасшедшим и посадить философа под домашний арест, под над-

зор врача. Есть все основания опасаться, что либерал Брежнев не удовольствуется подобным наказанием.

Подвергнув критике российскую действительность 30-х годов XIX века, Чаадаев отверг право русского народа на будущее и вынес резкий приговор всей русской культуре. «Отшельники в мире, — писал Чаадаев, — мы ничего ему не дали, ничего не взяли у него, не приобщили ни одной идеи к массе идей человечества, ничем не содействовали совершенствованию человеческого разума и исказили все, что сообщило нам это совершенствование».

Андрей Амальрик выносит подобный безжалостный приговор русскому государству: «Славянское государство поочередно создавалось скандинавами, византийцами, татарами, немцами и евреями — и поочередно уничтожало своих создателей. Всем своим союзникам оно изменяло, как только усматривало малейшую выгоду в этом, никогда не принимая всерьез никаких соглашений и никогда не имея ни с кем ничего общего». Он называет Россию страной, «которая в течение веков пучится и расползается, как кислое тесто, и не видит перед собой других задач».

Так же остро судит он и русский народ. «Русскому народу, — пишет Амальрик, — почти совершенно непонятна идея самоуправления, равного для всех закона и личной свободы — и связанной с этим ответственности... Само слово «свобода» понимается большинством народа как синоним слова «беспорядок»... В связи с этими чертами русского народа, предупреждает писатель, народное недовольство в момент гибели режима примет такие формы, что «ужасы русских революций 1905-07 и 1917-20 годов покажутся тогда просто идиллическими картинками».

Не возлагает Андрей Амальрик особых надежд и на оппозицию. Дав краткую историю оппозиции, проанализировав три главных ее течения и «средний класс» — **питательную среду** оппозиционного движения, он приходит к пессимистическим выводам. Начавшиеся поиски идеологии, которая могла бы противостоять официальной, пока еще не дали результатов, «успехи Демократического движения... представляются... весьма проблематичными».

Чрезвычайно интересны наблюдения Амальрика, связанные с характером власти в Советском Союзе сегодня. То, что многие профессиональные оптимисты называют процессом либерализации, расширения свобод Амальрик называет «процессом дряхления режима». Именно этим

дряхлением, старостью объясняет писатель некоторые «послабления» по сравнению с эпохой Сталина.

Если вся первая половина статьи представляет собой анализ советской действительности, то вся вторая является экскурсом в будущее. Сегодняшняя Россия по словам Амальрика, многими чертами напоминает Россию Николая I и Николая II, но еще больше напоминает бонапартистскую Францию Наполеона III. Режимы Николая I, Николая II, Наполеона III, запутавшись во внутренних противоречиях, искали выход во внешнеполитических авантюрах, которые несли им гибель..

Великолепным афоризмом заканчивает Амальрик первую часть статьи, переходя ко второй. Сравнивая нынешний советский режим с бонапартистским режимом Наполеона III, он пишет: «Ближний Восток будет его Мексикой, Чехословакия — Папской областью, а Китай — его Германской империей».

И Андрей Амальрик переходит к Китаю. Трудно спорить о том, что случится в будущем. Можно лишь сказать, что Андрей Амальрик исходит из концепции как нельзя более логичной: так было в прошлом, так будет в будущем. Если раньше гибли империи под натиском вражеских орд, то почему не может это случиться и сейчас? Сам писатель твердо убежден в том, что так именно и случится, что под ударами китайцев развалится, наконец, последняя из мировых империй — восточнославянская империя. Освободятся, наконец, восточные страны, произойдет, как выражается Амальрик, их «десоветизация».

Трудно спорить о том, что произойдет в будущем. Нет у нас достаточной информации, не всегда исторический процесс развивался аналогично. Ценность этой части статьи именно в том, что она вызывает споры, побуждает мышление. Но есть в конце статьи наблюдение, которое кажется мне самым интересным и самым ценным в книге.

Советский Союз — вторая индустриальная супердержава, Советский Союз — единственный достойный партнер США, Советский Союз — родина спутника. Но, пишет Амальрик, «советские ракеты достигли Венеры, — а картошку в деревне, где я живу, убирают руками». И это, как мне кажется, главное в книге Андрея Амальрика. Россия — не только супердержава, родина спутников, но одновременно: родина спутников и страна, в которой картошку собирают руками. Дело не столько в том, подчеркивает

Амальрик, «как убирать картошку, но в том, что уровень мышления большинства людей не поднимается выше этого «ручного» уровня.»

И это — главное. Ибо в России почти 50 процентов населения еще работает в деревне, руками убирает картошку», а еще — по крайней мере — 25 процентов совсем недавно пришло из деревни в город. И сами руководители страны, располагающие, наиболее современным в мире оружием, остаются еще на «ручном» уровне мышления.

Адам КРУЧЕК

Несколько слов об Анджее Ставаре

Знаменитый писатель Игнацио Силоне, в свое время один из основателей Итальянской компартии, а затем ушедший из партии, рассказывает, что как-то в беседе с Тольятти он шутливо заявил, что последний решительный бой произойдет между коммунистами и бывшими коммунистами. И действительно, число бывших коммунистов растет на Западе, пожалуй, быстрее чем число членов коммунистических партий. Многие государственные и политические деятели — от Андре Мальро до Герберта Венера, ближайшего соратника канцлера Вилли Брандта — пережили увлечение коммунизмом. Относится это и ко множеству писателей, художников, артистов.

Один из таких бывших коммунистов историк Исаак Дейтчер, автор биографий Сталина и Троцкого, дополнил классификацию Игнацио Силоне. Дейтчер разделил всех бывших коммунистов на еретиков и ренегатов.

Польский марксист Анджей Ставар был — в соответствии с этой классификацией — настоящим еретиком. Вступив в Коммунистическую партию Польши в начале 20-х годов в возрасте двадцати с небольшим лет, он порывает с партией в середине 30-х годов, в период окончательного оформления сталинской диктатуры в Советском Союзе. Он порывает с партией, но остается марксистом. Ставар убежден в том, что сталинизм — это извращение марксизма, что борьба со сталинизмом, это борьба за подлинный марксизм. В 1934 году он основывает журнал «Против течения», в котором печатает статьи — ортодоксально марксистские, со своей точки зрения, еретические — с точки зрения официальных партийных теоретиков.

Вернувшись после войны, которую Ставар провел в Венгрии,

в Польшу, где коммунисты пришли к власти, писатель не находит для себя места в «марксистских» журналах. Непродолжительная польская «весна» 1955-1956 гг. была временем интенсивной публицистической деятельности Ставара, напечатавшего немало интересных работ. Последовавшие заморозки вновь заставляют его замолчать. В 1961 г. писателю удается выехать в Париж. Он связывается с издающимся в эмиграции польским журналом «Культура», где печатает свои заметки «Глоссы». Это была последняя работа писателя, скончавшегося в августе 1961 г.

Анджей Ставар хорошо знал и любил русскую литературу, он внимательно изучал политическую и экономическую жизнь Советского Союза. Печатаемая ниже статья «О советской бюрократии» была написана в 1934 г. и опубликована в журнале «Против течения». Несмотря на то, что с момента ее написания прошло более 35 лет, статья во многом исключительно актуальна, во многом пророчески верна.

Особый интерес статьи заключается в том, что написана она с позиции «необходимости возвращения к Ленину». О таком «возвращении к Ленину» и сегодня немало говорят и пишут (в «самиздате» само собой разумеется) в Советском Союзе.

Прочитав статью Анджея Ставара советские читатели могут задать себе вопрос: если, как оказалось, 36 лет назад был уже невозможен возврат к Ленину, не смешно ли говорить об этом сегодня?

И еще одно. Ставар питает величайшее уважение к вождю русской революции, но, будучи человеком предельно честным, он не может не привести фактов, свидетельствующих, что «возврата к Ленину» не могло уже быть еще при жизни Ленина.

О советской бюрократии

«Рабочее государство с бюрократическим извращением».

Вопрос о советской бюрократии был разобран во многих работах Троцкого. Он говорит вещи вполне бесспорные, когда указывает на существование бюрократии как класса, подчеркивая отрицание данного факта самой бюрократией.

«Бюрократия, — пишет он, — не только не допускает критических высказываний снизу вверх, но запрещает даже и своим теоретикам о ней говорить или хотя бы замечать ее существование.

Из рабочего характера государства бюрократия делает вывод о своей непогрешимости: как может выродиться бюрократия рабочего государства! Государство и бюрократия тракуются при этом не как исторические процессы, но как вечные категории». («Что дальше»).

Но, давая общее объяснение бюрократическим уклонам, он выражает взгляды, несоответствующие историческим фактам. Особенно спорен его нажим на хронологическое начало выделения бюрократии:

«Что произошло в послеленинский период? Весь ведущий слой партии и государства, который проделал революцию и гражданскую войну, был оттеснен, отстранен и разгромлен. Его место занял безликий чиновник... В то же время борьба с бюрократизмом, которая в период, когда бюрократия еще едва выходила из пеленок, имела столь острый характер, совершенно прекратилась в момент, когда административный аппарат вырос аж до неба». («Что делать»).

Эта формулировка типична для оценки бюрократии Троцким, по представляемому ею смещению верного и неверного и по двусмысленной постановке вопроса. (О причинах этого мы поговорим дальше). Но явно неточно говорить о том, что весь ведущий слой, проделавший революцию и гражданскую войну, был отстранен и разгромлен. Если мы будем рассматривать данного безликого чиновника как символ бюрократии, то он сыграл очень важную роль, если не в подготовке победы революции, то по крайней мере в гражданской войне. (Эти две вещи надо различать). Еще большее упрощение заключается в представлении момента болезни и смерти Ленина как переломной даты, как это все время делает автор. Никто не будет сомневаться в грандиозности роли Ленина в революции, но там, где идет речь о действии социальных сил, если мы только стоим на позициях марксизма, трудно допустить, чтобы с возникновением миллионной общественной формации, личность, хотя бы и самая выдающаяся, могла изменить ход социального процесса.

Возможность узурпаторских тенденций у административного аппарата после революции рассматривалась в марксистской литературе уже целые десятки лет назад, в особенности в связи с опытом Парижской Коммуны. Эн-

гельс, характеризуя государственную и ультра-централистическую политику бланкистов писал, что —

... «рабочий класс, если он не хочет потерять своей только что им завоеванной власти, должен с одной стороны устранить весь аппарат гнета, до того применявшийся против него самого, а с другой должен застраховать себя в отношении своих депутатов и чиновников, объявляя, что все они без исключения могут быть отстранены с поста в любой момент». (Предисловие к «Классовой борьбе во Франции»).

Для Энгельса задача уничтожения старого государственного аппарата тесно сливается с задачей защиты и обеспечения себя по отношению к собственным, делегированным рабочим классом, чиновникам от их узурпаторских стремлений. Он иллюстрировал этот тезис примерами, которых я не буду здесь воспроизводить. Обстоятельно и подробно этот вопрос был разобран в «Государстве и революции», непосредственно перед Октябрьскими событиями. Автор специально указывает на тенденцию, которая будет побуждать «делегатов и чиновников» выделиться в особую чиновничью касту, поставить себя над массами. Он предвидел и средства противодействия этим тенденциям: выборность и отстраняемость с поста непосредственно массами, вознаграждение, не большее чем заработная плата рабочих. (Ленин идет настолько далеко, что, предвидя возможность обхода данного пункта, предостерегает даже от предоставления чиновникам каких-либо фондов на экстренные расходы). С этой книжкой в руках, можно пункт за пунктом указать, на какой почве развивается теперешняя эмансипация чиновничьего аппарата. Но именно потому мы не можем ограничиться «послеленинским периодом», а должны заглянуть гораздо дальше назад, в период гражданской войны, и рассмотреть то сплетение экономических, социальных и политических причин, которое побудило новую власть принять систему, изменяющую как представление о переходном периоде к новому обществу, так и самое понимание диктатуры. Ибо уже в 1919-ом году термин «рабочее государство с бюрократическим извращением» обнаруживается в программе РКП. Введение этого термина далось отнюдь не легко, а введен он был с тем,

чтобы отразить реальные перемены, которые новая власть не могла и не имела нужды затушевывать.

Никто не отдавал себе лучше отчета в этом огромном качественном изменении государства, чем сам Ленин. Довольно привести здесь несколько полемических выступлений, связанных, главным образом, с пресловутой дискуссией о профсоюзах в 1920-21 годах. Вся эта дискуссия возникла из расхождений в понимании отношения советского государства к рабочим и его двойственной роли.

Троцкий утверждает, и совершенно справедливо, что в этой дискуссии вопрос о профсоюзах составлял исходный пункт для выявления различий во взглядах на всю совокупность тогдашней ситуации. Но он сам же переводит дискуссию на почву экономической политики в первую очередь — экономические расхождения он считает самыми главными, а остальные сводит к проблемам преимущественно технического порядка. Это объясняется его желанием прикрыть последствия своей тогдашней позиции. Дискуссия касалась прежде всего вопросов, связанных с отношением советского государства к пролетариату.

Концепция тогдашних сторонников Троцкого о национализации профсоюзов, о подчинении их руководству административного аппарата, основывалась на особом понимании отношения рабочего класса к государственному аппарату. Рассуждение шло так: в капиталистическом государстве профсоюзы охраняют интересы рабочего класса; в советском государстве они не могут оправдать свое существование защитой этих интересов, ибо им не перед кем защищать интересы рабочего класса, раз власть и так в руках у рабочих; — отсюда их новая роль, как звеньев государственного аппарата. (Эта программа национализации профсоюзов связывалась с вопросом милитаризации труда). Эта позиция встретила резкий отпор со стороны Ленина, и именно на почве иного понимания роли советского государства.*

Протестуя против этих покушений, Ленин говорил:

* Между прочим, позиция, занятая Лениным в данной дискуссии, объясняет, почему Троцкий ставит так сильно ударение на послеленинский период в формировании бюрократии и избегает в своем анализе касаться периода гражданской войны и раннего НЭП-а: в полемике Ленин нападает на Троцкого, как на одного из самых крайних администраторов.

«Наше нынешнее государство таково, что весь организованный пролетариат должен против него защищаться»,

а в брошюре, написанной в защиту своей позиции, он опровергает формулировку Троцкого, будто в советском государстве

«союзы утратили старую основу своего существования, классовую экономическую борьбу».

Он там пишет между прочим:

«...это опять-таки торопливое преувеличение... Союзы утратили такую основу, как классовую экономическую борьбу, но далеко не утратили и долгие годы еще, к сожалению, не смогут утратить такую основу, как неклассовую «экономическую борьбу» в смысле борьбы с бюрократическими извращениями советского аппарата, в смысле охраны материальных и духовных интересов массы трудящихся путями и средствами, недоступными для этого аппарата, и т. п.» («Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках товарищей Троцкого и Бухарина». Ленин, Сочинения, изд. 4, том. 32, стр. 79).

Как видим, формулировка Ленина носит достаточно определенный характер: разграничение особых интересов рабочего класса от притязаний бюрократии,* которая могла

* Надо подчеркнуть, что много недоразумений происходит из двоякого понимания термина «бюрократия». Он часто употребляется для критики недостатков чиновничества, тонущего в потоке бумаг, халатно решающего дела, занимающегося интригами. В этом смысле говорят сейчас о бюрократии в Советском Союзе, рассматривая ее как известный общественный порок, наряду с пьянством, ленью, небрежностью в работе и т. д. Нет нужды говорить о том, что такое понимание не имеет ничего общего с понятием бюрократии в смысле профессионального слоя, занимающегося управлением и отделенного от рабочего класса. Если Ленин говорил: государство трудящихся с бюрократическим вырождением, он конечно имел в виду не этот бумажный поток (которого было вдоволь), а возникновение в организме нового общества этой обособлявшейся касты нового сановничества, претендующего на особые привилегии. Самым лучшим доказательством эволюции, проделанной с тех пор бюрократией, является то, что сам этот термин впал в забвение и стал пониматься в смысле казенного отношения к делу и расцениваться с морально-дидактической точки зрения.

бы навязать рабочему классу свои требования, не согласные с материальными и духовными интересами этого последнего. Надо подчеркнуть, что эти слова, резюмирующие двойственную роль советского государства, были написаны еще до введения НЭП'а. Наличие вырождения административного аппарата обуславливало необходимость повседневной борьбы рабочего за свои права, и поэтому следовало обеспечить рабочим опору в этой борьбе. Эта позиция находится в согласии с другими высказываниями Ленина в тот же период. У него, что ни шаг, встречаются указания на страшный рост бюрократии, на превращение части бывших революционеров в особый класс сановников; он настойчиво подчеркивает неспособность этого нового правящего слоя примениться к требованиям масс.

Для характеристики атмосферы, в которой шли эти споры, стоит вспомнить в частности доклад «О профессиональных союзах, о текущем моменте и об ошибках товарища Троцкого».

«Тов. Троцкий говорит о «рабочем государстве». Позвольте, это абстракция. Когда мы в 1917 году писали о рабочем государстве, это было понятно; но теперь, когда нам говорят: «Зачем защищать, от кого защищать рабочий класс, так как буржуазии нет, так как государство рабочее», то тут делают явную ошибку. Не совсем рабочее, в том-то и штука». (Ленин, Сочинения, изд. 4-е, том 32, стр. 6).

Противники оперировали этим термином «Рабочее государство» на демагогический манер, опровергая утверждения Ленина, когда тот говорил:

«У нас государство на деле не рабочее, а рабоче-крестьянское — это во-первых. А из этого очень многое вытекает...» (Там же, стр. 6).

Здесь произошел любопытный обмен мнениями:

«И хотя т. Бухарин сзади кричит: «Какое? Рабоче-крестьянское?», но на это я отвечать ему не стану. А кто желает, пусть припомнит только что закончившийся съезд Советов, и в этом уже будет ответ». (Там же, стр. 6).

Дальше он продолжал:

«Но мало этого. Из нашей партийной программы видно..., что государство у нас рабочее с б ю р о к р а т и ч е с к и м и з в р а щ е н и е м. И мы этот печальный, — как бы это сказать? — ярлык, что ли, должны были на него повесить. Вот вам реальность перехода». (Там же, стр. 6).

Чрезвычайно характерно обобщение этих формулировок в брошюре «Кризис партии». Подчеркивая законность бухаринских недоумений, Ленин дает несколько измененную формулировку той же самой мысли в таких словах: «Мне надо было сказать: «Рабочее государство есть абстракция. А на деле мы имеем рабочее государство, во-первых, с той особенностью, что в стране преобладает не рабочее, а крестьянское население; и, во-вторых, рабочее государство с бюрократическим извращением». Читатель, который захочет прочесть всю мою речь, увидит, что от этой поправки ни ход моей аргументации, ни мои выводы не изменяются». (Там же, стр. 28).

Оправдывающийся тон цитируемой реплики весьма характерен, так как он свидетельствует о том, какое серьезное сопротивление встречали тогда эти формулировки.

Это, впрочем, вполне понятно. Именно элементам, поглощенным расширением государственного аппарата, подчинением ему всех общественных сил, выступление Ленина было не на руку. Отсюда демагогия на тему, что он подвергает тут сомнению рабочий характер государства. Между прочим, во многих теперешних сталинских мероприятиях мы наблюдаем следы идеи тогдашних «государственников». Такие шаги, как прикрепление рабочего к заводу, запрещение переменять место работы, подчинение профессиональных союзов комиссариату труда и даже политотделы, все это — осуществление в новых условиях идей о трудовой армии и о национализации профсоюзов.

Экономика и культура.

Для многих тогдашних марксистов появление этого мощного аппарата, правящего по своему произволу, при-

сваивающего себе львиную долю скудных продовольственных ресурсов нового общества, аппарата, в котором пролетарские элементы составляли меньшинство, представлялось вначале чем-то случайным, результатом каких-то упущений, каких-то недосмотров. Им казалось, что можно устранить бюрократию при помощи соответствующих декретов, которые навсегда устранили бы возможность нового ее появления. Но уже вскоре выяснилось, что возникновение и существование бюрократии связаны с объективными условиями всей экономической и социальной структуры страны.

Как основной момент справедливо выставлялись безусловное преобладание мелкого производства, унаследованное от старого режима, неслыханная экономическая распыленность, не только в деревне, где существовавшие еще до революции большие экономические комплексы почти полностью исчезли, но и в городе. Л. Крицман в своей книге «Героический период великой русской революции» такими чертами характеризует экономические корни бюрократизма:

«Один из корней этого советского бюрократизма заключался в его выходе за пределы крупной экономики, в перегрузке пролетарско-натуральной экономической организации огромным количеством мелких предприятий, порождающей невозможность действительной, — а не имеющейся только на бумаге, — связи с отдельными экономическими единицами, что порождает чисто бумажный подход к делу, хотя бы уже по одной причине большого числа дел и невозможности их подробного рассмотрения.

Другой корень советского бюрократизма заключается в выходе революции за пределы непосредственно перед ней стоящих и не решенных ею задач, в преждевременной постановке задачи перестройки общих экономических условий на той стадии, когда еще не была в принципе закончена перестройка специфических экономических и даже политических условий» (стр. 148). (Автор тут имеет в виду не только необходимость работать на базе старой техники, но и необходимость прибегнуть к услугам старой технической интеллигенции, в значительной части враждебной, и даже в самом

лучшем случае не приспособленной к выполнению новых задач).

Наряду с этим распылением экономики, связанным с отсталостью страны, действовали и другие причины, связанные с гражданской войной. Упадок продукции не был одинаков в городе и в деревне. Если размер посевов упал по сравнению с 1913 годом на 12%, а урожай на 30% в 1920 году, то в это же самое время общая стоимость промышленной продукции упала на 82%, а если говорить о тяжелой промышленности, о горном деле, то и еще больше (железо давало 2,4% довоенного производства, добыча железной руды — 1,7% и т. д.). Страшное уменьшение экономического обмена между деревней и городом порождало необходимость широчайшего применения экономического принуждения. Надо тут принимать во внимание роль специфического военного налогообложения (реквизиции, государственные поставки), которое составляло главную основу существования городского населения. Все это не могло быть добыто без колоссального развития бюрократического аппарата. Но и по введении НЭПа, его роль не изменилась: противоречие между быстро растущей продукцией деревни и нуждающимся городом остается еще на довольно долгий период.

Впрочем, для оценки изменений, происходивших в жизни общества, повышения веса бюрократии, недостаточен сам по себе факт распыления экономики, являющийся результатом отсталости страны. Надо рассматривать эти вопросы в связи с исторически выработавшейся социальной структурой. Переворот радикально изменил соотношение главных классовых сил, пролетариата и буржуазии, перетрахнул промежуточные элементы, устранил юридические и бытовые надстройки старого общества; но в конечном счете власть, порожденная переворотом, принуждена была вступить в компромисс с теми элементами старого общества, силу которых составляла принадлежавшая им культурная монополия. Экспроприация миллионных слоев мелкой буржуазии обрекла их фактически на службу государству в различных формах, а следовательно и на жизнь на содержании у государства (безработицы в те времена не было, как, впрочем, нет ее и сейчас). Коло сальное увеличение числа государственных чиновников всякого

рода привело к тому, что они стали главной по численности прослойкой городского населения.

При разборе данного периода этими вопросами очень часто пренебрегают. Эффектная картина гражданской войны, наибольшего напряжения борющихся классов, заслоняла картину внутренних изменений в недрах нового общества. Эти изменения часто представляют как результат мер почти технического порядка: «покупка» сил квалифицированных специалистов во всех отраслях государственной и экономической машины (так представляют отклонение от пути максимальной оплаты). Однако же это не была «покупка» отдельных единиц. Там, где речь идет о сотнях тысяч и миллионах, о целой прослойке, там такие мероприятия входят в область социальной политики. Можно тут сделать сравнение с уступками реформистских капиталистических правительств по отношению к рабочим. С той разницей, что тут дело обстоит наоборот: тут пролетарская власть делала уступки элементам, сросшимся со старым строем, с тем, чтобы их с собой примирить или по крайней мере нейтрализовать.

Не надо, конечно, думать, что миллионная масса аппарата стала сразу чем-то однородным; она и теперь еще не однородна. Наряду с элементами, выдвинутыми революцией, работниками от станка, крестьянами, профессиональными революционерами прежнего времени, придающими классовый характер деятельности данного аппарата, мы видим в нем в огромном числе представителей старого общества из самой различной среды: от инженера-конструктора до фабричного мастера, от генерала до фельдфебеля. Силу этой массы (в начале резко различавшейся, несмотря на свое, наполовину вынужденное, сотрудничество) не следует приписывать одной ее численности. Эти элементы располагали монополией на культуру или, во всяком случае, чем-то подобным. Конструирование машины или организация бюро, составление плана или обучение детей в школе, все влекло за собою использование услуг этих людей, а часто и передачу им в руки фактического руководства.

В доступной и образной форме осветил это явление Ленин в одном из своих последних выступлений в 1922 году. Подтвердивши, что все силы страны сосредоточены в руках у коммунистов, как экономические, так и политические, он говорит наглядно:

«Но если взять Москву — 4 700 ответственных комму-

нистов — и взять эту бюрократическую машину, груды, — кто кого ведет? Я очень сомневаюсь, чтобы можно было сказать, что коммунисты ведут эту груды. Если правду говорить, то не они ведут, а их ведут. Тут произошло нечто подобное тому, что нам в детстве рассказывали по истории. Нас учили: бывает, что один народ завоеует другой народ, и тогда тот народ, который завоевал, бывает завоевателем, а тот, который завоеван, бывает побежденным. Это очень просто и всем понятно. Но что бывает с культурой этих народов? Тут не так просто. Если народ, который завоевал, культурнее народа побежденного, то он навязывает ему свою культуру, а если наоборот, то бывает так, что побежденный свою культуру навязывает завоевателю. Не вышло ли нечто подобное в РСФСР и не получилось ли тут так, что 4 700 коммунистов (почти целая дивизия, и все самые лучшие) не оказались ли подчиненными чужой культуре? Правда, тут может как-будто получиться впечатление, что у побежденных есть высокая культура. Ничего подобного. Культура у них мизерная, ничтожная, но все же она больше, чем у нас». («Политический отчет Центрального Комитета РКП(б), 27-го марта», Сочинения, изд. 4-е, том 33, стр. 258-259).

Это была проблема чрезвычайной важности, и здесь отнюдь не численность определяла ход дальнейшего развития.

Рабочая оппозиция.

Я указал выше на те факты в период первых лет после революции, которые решительнее всего повлияли на формирование бюрократии и о которых нельзя забывать, если вообще хочешь понять вопрос. Теперешнему положению дел предшествовал долгий подготовительный период. Диктатура аппарата, его вознесение ввысь и его эмансипация не были результатом какого-то внезапного поворота. Все это осуществлялось постепенно. Надо здесь различать установление некоторых принципов от их реализации; эта последняя часто представляется началом, тогда как в действительности является результатом длительной подготов-

ки, подведением выводов из уже установленных ранее предпосылок.

С такой точки зрения надо рассматривать и вопрос о диктатуре аппарата и о ликвидации демократии, как в обще-пролетарском, так и в организационном масштабе. Троцкий пробует по мере возможности перенести эту проблему на более поздний период, по соображениям, о которых мы уже говорили. Я указал на объективные предпосылки процесса бюрократизации, которые толкали развитие именно в этом направлении и на которые самая добрая воля не могла повлиять. И здесь отправной точкой были годы 1921-22, период дискуссии о профессиональных союзах и начало новой экономической политики. В то же время, это — период стабилизации аппарата и выработки его новой роли.

Гражданская война создала условия для появления особой командующей группы и дала моральный авторитет ее обособлению. Развитию бюрократического правления содействовало «арбитражное» положение, почвой для которого явилась новая экономическая политика и созданные ею новые формы противоречий. В этой области наизыментарнейшие вещи были замазаны или искажены позднейшими истолкователями и прославителями.

В своих выступлениях, посвященных объяснению этих перемен, Ленин, казалось бы, самое компетентное в этих вопросах лицо, всегда указывал на тесную связь с экономической политикой 1917 года. Период военного коммунизма и его экономическая политика подаются здесь как известное нарушение непрерывности и плановости перемен. В этом смысле, НЭП был не столь уж большим отклонением, как это многим казалось. Но огромное углубление социального переворота, перенесение его в самое сердце деревенской жизни, создало совершенно ложную перспективу возможности введения социалистической экономики в полном смысле слова. Разочарование в широких массах было совершенно понятно.

Это разочарование должно было проявляться разными способами. Если уже в предшествующий период власть, в интересах сохранения промышленности, ведения войны и т. д., нанимала спеца, часто заведомого врага рабочего класса, платила ему золотом, удовлетворяла его потребности в размерах в десять раз более высоких, чем удовлетворялись потребности рабочих, что, естественным образом,

не раз вызывало возмущение и вмешательство непосредственных представителей пролетариата, то здесь эти явления выступили в значительно более сильной степени. Легализация нэпмановской буржуазии, появление заново спекуляции и узаконенной эксплуатации не могло, перед лицом неслыханной нужды и обнищания пролетариата, не вызвать откликов со стороны масс и их непосредственных представителей, пытавшихся в администрации своими силами и «в пределах своих возможностей корректировать» распоряжения центральных властей. С другой стороны, правительственный аппарат рабочего государства принужден защищать эту новую буржуазию в деревне и в городе от атак со стороны представителей тех самых классов, которые ему доверили власть. Напряженные до предела противоречия приводят к дальнейшему укреплению позиций аппарата. Логичным выводом из этой ситуации (оставляю в стороне другие соображения) является тенденция к ослаблению прерогатив местных органов, тенденция к усилению централизации, к меньшему применению уговоров и к более произвольным мероприятиям. Ограничение власти органов революционного самоуправления подтверждается далее новыми аргументами: с ростом навыка возрастают аппетиты центра, перемены в управлении автоматически следуют по пути незаметного осуществления мелких и незначительных перемен, нагромождение которых ведет уже к весьма важным последствиям.

Этим объясняются многие перемены с 1921 по 1922 год, в период, в котором разыгрались первые столкновения, определяющие иногда будущее распределение сил и будущие события. Трудно установить тут точные сроки, так как иногда вопросы первостепенного значения рассматривались как побочные, мимоходом. Таким вопросом была прежде всего ликвидация значения советов в качестве самостоятельных организаций, низведение их из положения рабочих парламентов до роли исполнительного органа. Было вещь довольно естественной, что в период гражданской войны, когда на первый план выступили столкновения вооруженных сил, Советы должны были до известной степени отойти в тень. Но именно окончание войны положило конец их самостоятельному существованию; таков логический вывод из партийной монополии.

Еще в брошюре «Детская болезнь левизны» (1920) Ленин подчеркивает факт легального существования партий:

меньшевиков, эсеров, анархистов, как нечто само собой разумеющееся, и говорит о недопустимости принудительных мер по отношению к рабочим при указании ими их партийной принадлежности. Между тем, это писалось в период максимального напряжения гражданской войны. Ликвидация этих партий связывается в тот период с запретом создавать фракции в среде господствующей партии, означающим фактически конец партийной демократии. Нетрудно обосновать соединение двух проблем. Ликвидация «советских» партий была вступлением на путь контроля убеждений каждого отдельного рабочего и запрета их провозглашения в той мере, в какой они расходились со взглядами правящей партии. Одновременно с этим менялось и отношение к фракциям в большевистской партии. В период 1917-21 годов они являлись временными программными группировками; в это время существовали другие партии, необходимость борьбы с которыми соединяла временных противников. Положение изменилось, когда этот объединительный элемент перестал существовать, когда всякая партийная жизнь за пределами правящей партии приобрела анонимный «беспартийный» характер. Теперь даже относительно незначительные разногласия между фракциями должны были приобрести острый характер, поскольку этим путем могли найти свое выражение «немые» в политическом отношении элементы. Добровольное единомыслие становилось в этих условиях принудительным. Политический контроль над политическими убеждениями каждого отдельного рабочего должен был быть соединен с контролем над убеждениями каждого отдельного члена правящей организации. При таких условиях понятно, почему резолюции X Съезда РКП(б) сделались в дальнейшем magna charta аппарата. Их значение было значительно большим, чем простой запрет фракций, вызванный потребностями текущего момента. При этом было ясно, что именно условия, связанные с этим запретом, придадут фракционной борьбе такую же ожесточенность, какой отличалась ранее борьба между партиями.*

* Вопрос о связи между ликвидацией всеобщей демократии для масс и организационной демократии может представляться спорным. Спорной в особенности представляется локализация этих мероприятий в данном периоде. Указывают на тот факт, что еще в годы 1923-24 избирательные кампании в Советы были подлинными избирательными кампаниями. Это объяснялось тем, что институт «беспартийности» был явлением новым, и что из его учрежде-

Существенно, что аргументы, выдвигавшиеся Лениным в защиту данных мероприятий, носили чисто конъюнктурный характер. Они сводились к тому, что диктатура пролетариата переживает отступление, и в момент ее отступления надо замкнуть рты паникерам, дабы отступление не превратилось в паническое бегство. Он считал этот период еще более опасным для новой власти, чем самые опасные моменты гражданской войны. С этой точки зрения представлялось необходимым усилить режим средствами аппарата.

Если дискуссия о профсоюзах была, в конечном счете, дискуссией об отношении советского государства к пролетариату, в споре с возникшей на этом фоне «Рабочей Оппозицией» речь шла не столько об ее «синдикализме», сколько об оценке сил рабочего класса в данный момент. Главным козырем «Рабочей Оппозиции» был лозунг «Больше доверия к силам рабочего класса!» Полемизируя с этим лозунгом, Ленин указывал на неслыханное рассеяние, деклассирование пролетариата, проявившееся под конец войны. Пролетариат всегда составлял относительно тонкую прослойку городского населения. За время войны огромная и притом самая энергичная и самая сознательная часть пролетариата переключилась в аппарат и в армию, часть сложила свои кости на полях сражений, и лишь в незначительном числе вернулась на заводы. Очень характерные аргументы мы встречаем в уже цитировавшемся нами выступлении на XI Съезде:

«Очень часто, когда говорят: «рабочие», думают, что значит это фабрично-заводский пролетариат. Вовсе не значит. У нас со времен войны на фабрики и на заводы пошли люди вовсе не пролетарские, а пошли с тем, чтобы спрятаться от войны, а разве у нас сейчас общественные и экономические условия таковы, что на фабрики и заводы идут настоящие пролетарии? Это неверно». (Политический отчет Центрального Комитета РКП(б), Сочинения, изд. 4, т. 33, стр. 268).

Если настоящие пролетарии, наделенные здравым клас-

ния не было сделано никаких выводов в отношении контроля. То же самое относится и к демократии в работе правящей партии. «Мягкое» обхождение с первоначальными оппозициями объясняется новизной и неопытностью в пользовании средствами.

совым инстинктом, в огромном большинстве сидят в административном аппарате или в армии, а фабрики и заводы, еще едва-едва дышащие, наполнены всяким мелкобуржуазным сбродом, всякими окопавшимися в тылу обывателями и дезертирами, то тем самым лозунги «Рабочей Оппозиции», лозунги рабочей демократии, контроля заводской массы над аппаратом, получают совсем иное значение: они идут на руку этим чуждым и враждебным элементам. Этот аргумент мы еще не раз услышим, в различных вариантах, в более поздний период. Его суть повторил недавно автор «Что дальше» в одной из последних статей:

«Огромные трудности построения социализма в изолированной и отсталой стране привели к тому, что бюрократия экспроприировала в политическом отношении пролетариат, чтобы своими собственными методами принять его социальные завоевания». («Классовый характер советского государства»).

Если этот довод имел когда-либо свое значение, то именно в тот начальный период нарастания всемогущества бюрократии.

Установление новой ортодоксии.

Я отметил связь между возникновением и развитием бюрократии и всей экономической структурой страны, которая сделалась еще более отсталой за время гражданской войны. Новая экономическая политика неизбежно создавала для правящего слоя возможности установления своего произвола, которые, даже и без существенных изменений в его составе должны были содействовать развитию в его среде тенденций к дальнейшему обособлению и к большей самостоятельности. Главную роль тут, однако, сыграла деревня; с известной точки зрения, вопрос о бюрократии можно бы, вообще, рассматривать в рамках крестьянского вопроса.

Характерен, в этом отношении, ответ Ленина на письмо одного из его сотрудников, который писал:

«Самодетельность масс возможна лишь тогда, когда мы сотрем с лица земли тот на-

рыв, который называется бюрократическими главками и центрами».

Ленин отвечает:

«Это ошибка. Можно прогнать царя, — прогнать помещиков, — прогнать капиталистов. Мы это сделали. Но нельзя «прогнать» бюрократизм в крестьянской стране, нельзя «стереть с лица земли». Можно лишь медленным упорным трудом его у м е н ь ш и т ь». («Письмо М. Соколову», Сочинения, изд. 4-е, том 35, стр. 419).

Крестьянская масса своей тяжестью не только полупассивно нажимала в сторону осуществления требований мелкого собственника (в чем она наталкивалась на сопротивление), но и бросала на чашку весов, в пользу сильной власти, все свое, не всегда явное, но часто весьма важное влияние, поддерживая процесс создания самостоятельной бюрократии. Не надо думать при этом, что все ее требования были осуществлены. Сильная власть, как во многих других случаях, и на этот раз обманула чаяния крестьянства. Но они ей давали возможность большой свободы в тактической игре и в проведении произвольных мероприятий. С этой-то точки зрения и надо рассматривать этапы внутренней борьбы, начиная с 1923 года. Во всяком случае, отсюда не случайно то, что крестьянский вопрос стал осью событий и исходным пунктом для более или менее замаскированных обоснований самостоятельности аппарата.

В этом отношении чрезвычайно симптоматична теоретическая работа генерального секретаря в области вопросов «смычки» и поддержания хороших отношений с крестьянством в годы 1923-26. Они стали отправной точкой для создания своеобразной теории об арбитражной роли партии, бодрствующей, дабы классовые интересы рабочих и крестьян не приходили в резкое столкновение. Это — новый этап, тесно связанный с коренным пересмотром теоретических принципов в согласии с новыми задачами. Здесь следует остановиться на возникновении того, что Троцкий называет плебесцитарно-личным режимом, и в чем нашел свое выражение современный этап эволюции бюрократии.

Насколько справедливо это определение: плебесцитар-

но-личный режим? Плебесцита в наполеоновском смысле не проводилось, и речь тут идет в первую очередь об обязательной, повсеместной декларации со стороны людей, занимающих какой-либо пост, от самых низших до самых высших. Всякое выражение лояльности по адресу центральных властей непременно сопровождается прибавкой: со Сталиным во главе. Журналист не смеет написать статьи по какому бы то ни было самому обычному вопросу, не упомянув сакраментального имени в сопровождении положенных комплиментов. Смотри по тому, насколько усердно и каким манером данный чиновник цитирует изречения вождя, определяется его степень пригодности занимать наиболее ответственные посты. Это еще не так поразительно, пока речь идет о политических вопросах в самом широком смысле слова, но доходит до карикатуры, когда к возданию предписанных почестей привлекаются специалисты в самых различных областях. Техник, врач, военный, литератор и т. д., люди различных профессий и различной степени компетенции проявили бы величайшую нелояльность, если бы не указали, кому они обязаны самым источником своих идей. Декларативная лояльность распространилась до неслыханных пределов, возникло своеобразное соревнование в выражении своего энтузиазма и восторга; ловким и своевременным подхалимством можно иногда обеспечить себе карьеру на всю жизнь. Культ генерального секретаря посвящена чуть ли не целая отрасль промышленности; во всяком случае, на его прославление расходуются многие миллионы. Бюсты, портреты его фабрикуются в грандиозном количестве; по библиотекам люди корпят над изречениями вождя и подбирают крохи его мыслей.

Несомненно, режим личной власти всегда появляется тогда, когда противоречия действующих сил, наличных интересов, настолько сильны и настолько напряжены, что они угрожают разрушением существующей системы правительств. Если принять за исходный пункт известную энгельсовскую формулу о государстве, как о силе подавляющей проявление классовых противоречий в недрах общества, о силе формально стоящей над обществом, хотя и выражающей в действительности господство определенных слоев, то тогда режим личной власти представляет собою как бы конденсацию сущности государства. Централизация доведена тут до абсурдных размеров. Мы имеем

тут дело с таким историческим моментом, когда противоречия, ищущие себе выхода, действуют еще как бы наощупь, в ожидании часа, который позволит им выступить во всеоружии и открыто.

Тут надо подразумевать не только механическое согласование противоречий, ибо они слишком велики, а нажим сверху не особенно силен, но и, так сказать, достижение этими противоречиями предела наивысшей концентрации. Не без основания отмечалось, что так называемая «генеральная линия» состоит в бесцеремонном заимствовании целых кусков из программы правого и левого крыла при столь же часто бесцеремонном отречении от собственных лозунгов. В этом колебании между фракциями и программами заключена своеобразная демагогия, но это не демагогия трибуна, а демагогия администратора. Административная ловкость в соединении доктрин, без заботы об их несогласуемости, представляет собою нечто большее, чем обычный эклектизм. Стоит привести здесь два примера, — впрочем, широко известных, — данного метода. От отрицания теории о построении социализма в одной стране Сталин переходит к превращению ее в центральный пункт новой ортодоксии. От лозунга социального мира в деревне и защиты сельских собственников аргументами о необходимости построения социализма, которое было бы невозможным при волнениях и беспорядках в деревне, он переходит к ликвидации кулаков самыми свирепыми методами и к введению всеобщей коллективизации при помощи административных мер. То же самое было и с отказом от относительно умеренного ускорения индустриализации, имевшего место в 1926-1927 году, и с переходом к форсированию индустриализации в последующие годы под прикрытием все той же самой линии.

Нельзя, однако же, рассматривать эту тактику как личную прихоть: в ней, несомненно, нашли свое выражение трудности управления неопытным аппаратом, прошедшим свою первую и главную административную школу в военных условиях и склонным к применению в своей работе примитивных военных приемов.

Новая ортодоксия создается в первую очередь путем редукции, путем отбрасывания тех частей идеологического капитала, которые бюрократия уже «переросла», а не путем открытого разрыва. В этом методе создания новой ортодоксии выражается двойственность положения новой

прослойки: с одной стороны, ее тесная связь с революцией, тот факт, что она выросла из переворота и обязана ему всем; с другой стороны, стремление к укреплению своей позиции и переходу из положения более или менее текучей иерархии, зависимой от рабочего класса, к гораздо более прочному положению. Эта ортодоксия, при всем своем апломбе и внешней энергии, является конструкцией с ярко выраженным переходным характером, выражающим такой этап, когда внутренние изменения в недрах бюрократии еще не проявились полностью, когда еще не выработалась соответствующая программа, но когда уже существуют определенные тенденции. Идеология дает им выражение не вполне правдивое.

Последствия мандарината.

Эта концентрация противоречий, придание им мистификаторского, почти мистического выражения в режиме, проявилась, может быть, яснее всего в идеологических операциях, произведенных над марксизмом. Поскольку бюрократия не может порвать с традицией революции, на которую опирается ее быт, она не может отречься от марксизма. С другой стороны, однако, революционное содержание теорий Маркса составляет непрестанную угрозу для правящих слоев, разоблачает их узурпаторские устремления. Отсюда вытекает необходимость непрестанного «согласования». В период заостренной фракционной борьбы, политическое оживление выражалось в шумных спорах по теоретическим вопросам. Этим спорам был положен конец грубым вмешательством сверху в 1930 и 1931 годах. Теория в изложении официальных философов выглядит так. Источником теоретических концепций не могут быть какие-либо абстрактные размышления и постулаты: их самыми важными проявлениями являются в настоящее время правительственные акты, распоряжения, письма и циркуляры генерального секретаря, а также установленных им партийных и административных инстанций. В этом заключается подлинный марксизм, и под этим углом зрения подлжит рассматривать все теоретические концепции в любой области. Основой этой теории должен служить марксистский постулат об единстве теории и практики, но легко заметить, что тут устанавливается примат практики

над теорией. Таким путем любая теоретическая работа имеет право на существование лишь постольку, поскольку она оправдывает правительственную практику, вместе с самыми резкими ее тактическими voltaми. Смысл этой теории сводится к запрету какой-бы то ни было критики аппарата со стороны общественности, хотя бы даже и критики крайне далекой от задач непосредственной практики.

Мы наблюдаем здесь подмену марксизма своего рода административным прагматизмом, оперирующим марксистской социальной терминологией. Из критической и проникнутой научным духом доктрины, марксизм постепенно превращается в собрание окостенелых формул и догм, столь же мало научно обоснованных, как и теория о папской непогрешимости.

В марксизме, в обработке аппарата, на первый план выдвигается культ государства в самой грубой и откровенной форме. Это на свой лад «дополняет» картину переходного периода, данную в «Государстве и революции», где этот культ как раз был подвергнут блестящей критике. Смысл данной операции легко понятен.

Государство и его возвеличение становится просто прикрытием для бюрократии; и всякие операции с прилагательными мало меняют дело. Характер этих операций освещают утверждения, до которых договорились теоретики новой ортодоксии в связи с предсказаниями результатов новой пятилетки. Самым сенсационным пунктом должно было быть окончательное упразднение классов и установление бесклассового общества. Одновременно, однако, предвидится непрерывное дальнейшее укрепление советского государства, а, следовательно, и его репрессивно-контролирующего могущества по отношению к обществу, в котором классовые противоречия исчезают или уже исчезли. Какова же, однако, будет тогда роль государства? Сильное государство и все связанные с ним атрибуты (могущественная полиция, армия, независимая бюрократия) связывались у идеологов марксизма с существованием сильных классовых противоречий, и чем сильнее было сопротивление подданных, тем мощнее было государство. Укрепление государства при исчезновении классовых противоречий — это нечто такое, что ниспровергает все установки прежнего марксизма. Разве что уничтожение классов, т. е. установление бесклассового общества, без общественного неравенства, должно быть чисто формальным

актом: экономическое неравенство остается и остается обязанность государства охранять это неравенство (говоря словами Ленина: «буржуазное государство без буржуазии»). Но мощь государства всегда тесно зависит от степени напряжения этих противоречий, и говорить, что государство будет укрепляться при исчезновении социальных противоречий, это значит попросту предсказывать, что эти противоречия примут новую форму конфликта между государственным аппаратом и связанными с ним элементами — и «бесклассовой» массой подданных. Государственный аппарат защищает тогда свои интересы против этой массы, а следовательно занимает место прежних эксплуататорских классов. Социальные противоречия возрождаются на новой основе: мандаринат, извлекающий дополнительные экономические выгоды из титула осуществления власти и контроля, противопоставляет себя подчиненной ему массе населения. Конечно, тут не может быть и речи о социализме в марксистском понимании слова. Эта теория имеет значение не как предсказание развития в направлении к бесклассовому обществу и установление путей к нему, а как способ обеспечения преобладающего положения бюрократии: что в ней замечательно, так это оперирование марксистской терминологией и «согласование» при помощи этой терминологии самых кричащих противоречий; это, впрочем, характерно и для других идеологических продуктов данной школы.

Из этих продуктов наиболее ожесточенные споры вызвала теория о построении социализма в одной стране. На эту тему много было написано, и очень трудно было бы дать какие-либо исчерпывающие заключения по данному вопросу. Впрочем, — что может показаться странным, — сама по себе эта проблема не имеет большого практического значения. Если мы сравним мнения двух главных полемистов по данному вопросу, Троцкого и Сталина, то окажется, что вначале они расходились гораздо меньше, чем это обычно предполагается. С одной стороны, сторонники данной теории не говорили, что социализм наверняка будет построен в одной стране; с другой, ее противники не доказывали, будто нельзя начать его построение, заложив его фундамент в одной стране. Дело было тут скорее в истолковании такой возможности, в педагогическом значении данной проблемы. Но характерно то, что Сталин оперирует аргументами не научного характера, а

скорее эмоционального. Кроме двух-трех цитат из Ленина по данному вопросу, которые можно интерпретировать по-разному, как главный аргумент выдвигается необходимость достижения того, чему дается имя «просвета», света во тьме, надежды, «зари». В ход пускается при этом почти мистический словарь. Значение теории не в этих спорах. Данная теория по самой своей природе мессианистическая. И в этом состоит, пожалуй, самая важная ее сторона, в этом заключается ее огромное спланированное значение для бюрократии и для воздействующих на нее элементов.

Именно, та педагогическая, «спланированная», по отношению ко всем исходным элементам бюрократии, сущность данной теории обеспечивала ей успех. Для широких мелкобуржуазных масс, составляющих кадры советской бюрократии, она должна была послужить мостом от исповедания старых националистических идеалов к работе на новый строй. Она стала основой для своеобразного советского патриотизма. Теория о построении социализма в одной стране была выдвинута параллельно с обозначением арбитражной роли аппарата, сильным ростом неэпических элементов (и вместе с тем с экономической разрухой в Германии в 1923-24 годах), и это делает понятной ту энергию, с какой она была поддержана. Она составляет естественную соединительную ткань между неимущей мелкой буржуазией, работающей в советском аппарате интеллигенцией и националистически настроенными элементами рабочей аристократии. Итак, эта теория была одним из самых могучих орудий в деле создания бюрократической амальгамы, послужившей предпосылкой для дальнейшей консолидации.

Диалектика неравенства

Личный режим является выразителем роли бюрократии в управлении, ее реального влияния на повседневные дела. Довольно важным пунктом является обозначить границы этого влияния. Конечно, тут нельзя говорить о каком-либо голосовании, основанном на демократических принципах, ибо тогда имелись бы другие способы выражения. Участие бюрократии в управлении выражается в, так сказать, преторианских формах, путем низвержения одних вождей и выдвижения других. «Линия» проявляется

не путем установления какой-либо программы, но путем фактических мероприятий. Программа выступает в замаскированной форме; впрочем, она часто берется от противника, побежденного в борьбе на почве аппарата. Таким путем был опрокинут Троцкий, человек «новый», «не большевик», коалицией старых вождей, Зиновьева и Каменева, со Сталиным. Таким путем были опрокинуты двое из этих старых вождей, Зиновьев и Каменев, путем коалиции с вождями правого крыла; таким же путем, посредством невыраженных деклараций большинства аппаратчиков, были опрокинуты Сталиным Бухарин, Рыков и другие. Нельзя усматривать в этих делах только большую ловкость или большее напряжение фракционной энергии; при всей их замаскированности, программные мероприятия имеют известную логику, проявляющуюся в том, как они опираются на ту или иную часть бюрократии.

Эта бюрократия по своей природе не монолитна. Если можно говорить о двойственности позиции бюрократии в связи со всем ее прошлым, было бы упрощением объяснить таким образом те конфликты и ту внутреннюю борьбу, которые отмечают в то же время и этапы развития в установлении ее преобладания. Здесь надо различать между первоначальной пестротой ее состава, которая, конечно, позже стерлась (или, вернее, была закрашена), и теми конфликтами, которые возникли позже. Здесь ничего не дало бы общее разделение на пролетарские элементы, выросшие из революции, и наносные спецовские элементы. Зато довольно быстро проявились противоречия между группами, связанными с государственной администрацией в собственном смысле слова, и хозяйственной бюрократией, руководящей государственной промышленностью. Первая из них, по самой своей природе, была более оседлой, более податливой на все искушения упрочнения своего положения, вытекавшие из арбитражной позиции бюрократии, создавшейся в результате введения НЭП'а. Но в то же время, в связи с развитием промышленности, росла сила хозяйственной бюрократии, тесно связанной с прослойкой квалифицированных сотрудников, новой красной интеллигенцией, которая должна была противиться экономическому усилению новой буржуазии. Таковы две главные группировки бюрократии. Между ними колеблется группа, связанная с организационным аппаратом, создающая себе постепенно авторитет и начинающая оказывать влияние на

ход событий. Этот процесс трудно было бы резюмировать в каком-либо определенном образе, в какой-либо четкой формуле. Мы тут наблюдаем сращение и сплетение различных моментов.

Было бы также грубым упрощением сводить все дело к механическому выражению непосредственных интересов бюрократии. Двойственность, являющаяся «первородным грехом» правящего слоя, принуждает его к далеко идущей двойственности в его практической работе. Единичная власть генерального секретаря выступает здесь не только как символ и персонификация бюрократии, но в то же время и как «корректур» ее правления, примитивная замена общественного контроля над работой аппарата. Та своеобразная административная демагогия, о которой я уже упоминал, переносится здесь внутрь аппарата, проникает собою его повседневную деятельность. В этом выражаются неудобства, связанные с функционированием «непогрешимой» и не подчиненной общественному контролю администрации.

В «диалектику» этих отношений лучше, чем все теоретические рассуждения, вводит наблюдение над административными мероприятиями. Особенно богатую почву дает здесь сельскохозяйственная политика, в которой эта принципиальная двойственность проявляется в особенно ясном виде. (Впрочем, как я уже говорил, деревня играет главную роль в самом возникновении бюрократического управления). Прежде всего тут бросается в глаза не только своеобразное разделение ответственности между центром и исполнительным аппаратом и сваливание на этот последний всех ошибок и неудач общей экономической политики. Можно привести здесь десятки примеров таких случаев, когда мероприятия, прославлявшиеся сперва как решающие и спасительные, в результате неудачи были отнесены на счет «вредителей» в аппарате. Так, например, при начале массовой коллективизации, крестьяне старались заранее превратить в деньги свой скот и своих лошадей и массами их продавали. Чтобы воспрепятствовать распылению и уничтожению поголовья, власти распорядились закрыть скотские ярмарки и воспретили производить соответствующие сделки. Это распоряжение прославлялось печатью как нечто замечательное. Но результаты были не те, которых ждали. Крестьяне, не имея возможности продавать живой скот, начали превращать его в продукты, бо-

лее удобные для сбыта, — резать скот и продавать его мясо и кожу, и уже в 1930 году данное замечательное распоряжение фигурирует в списке тех, которые приписываются вредителям.

Крайнюю форму подобного явления мы наблюдаем в тех случаях, когда дезавуирование мероприятий исходит от самого генсека. Тогда основная двойственность административной политики используется уже открыто. В политике, связанной с проведением коллективизации, эта двойственность проявилась особенно ярким образом.

Когда, весной 1930 года, было опубликовано письмо генсека под заглавием «Головокружение от успехов», оно явилось страшной неожиданностью в первую очередь для чиновников на местах. Письмо, за которым вскоре последовал и соответствующий указ, клеймило их образ действий, который им, фактически, был прежде предписан сверху. При этом они не были предупреждены о готовящемся повороте и продолжали нажимать на репрессии. Толпы крестьян врывались в города, размахивая листами газет с пресловутым письмом и крича: «Да здравствует наш заступник Сталин!» Таким путем генсек еще раз сумел представиться крестьянам, как их защитник от несправедливостей со стороны аппарата.

Любопытно, что такая же политика применяется и к профессиональной интеллигенции. Типичный пример представляет в этом отношении история так называемых ассоциаций Пролетарских Писателей (ВАПП и РАПП). В период «перестройки» они проводили всю политику «генеральной линии» в применении к литературе, и притом самым бюрократическим образом, согласно указаниям сверху. Эти организации, насчитывавшие десятки тысяч членов, были разогнаны (трудно было бы подыскать тут другое слово) буквально на следующий день после съезда, посвященного вопросу о пролетарской поэзии, на котором были приняты чрезвычайно подробные резолюции на тему о второй пятилетке в литературе и программа дальнейшего развития организаций. Административные работники, действовавшие точно по инструкциям, были захвачены врасплох, дезавуированы самым дискредитирующим образом перед всей массой советских писателей, которых они до того сильно допекали. И опять-таки, тайну данной операции можно было понять позже на основе потока прославлений

и благословений, который хлынул по адресу генерального секретаря со стороны «освобожденных» литераторов.

Характерной чертой этих заботливых вмешательств является то, что они следуют внезапно и с максимальным шумом. Генсек выступает тут прямо-таки в роли Гаруна-аль-Рашида, который много присматривался к безобразиям со стороны аппарата с тем, чтобы вдруг поразить их своими громами. Такое вмешательство производит и на защищаемых, и на осуждаемых аппаратчиков впечатление пресловутого кирпича, падающего с крыши.

Эти акции, проводимые со всей энергией, с применением всей административной демагогии советской системы, понятно стоят очень дорого, во многих отношениях. Нельзя тоже сказать, чтобы они вызывали особый энтузиазм, в особенности в высших административных сферах, именно по причине их примитивности, дороговизны и страшного беспорядка, ими порождаемого. На первый взгляд все это кажется мало понятным. Казалось бы, сила и самостоятельность администрации должны бы выражаться в стремлении к рационализации работы аппарата и в возможно более экономном осуществлении ее собственных акций. Объяснения этих столкновений надо искать в диалектике основных социальных противоречий режима.

Основным противоречием является противоречие между формой диктатуры пролетариата и сущностью «опеки» осуществляемой аппаратом. Вопрос можно для удобства разделить на два вопроса: отношения между правящим слоем, аппаратом и рабочим классом — и отношения между аппаратом в тесном смысле слова и широкой массовой организацией. Каждый из этих вопросов вызывает чрезвычайно характерную эволюцию. Займемся здесь первым вопросом: как я уже отметил, нельзя подходить к нему исключительно под углом зрения паразитизма бюрократии, или какого-либо упущения. Настоящие корни развития бюрократии надо, однако, искать в ее «героическом» периоде; это, конечно, представляется куда более трудным, куда менее простым; но это позволяет понять ее роль значительно более многосторонне, значительно более диалектически. Это позволяет объяснить себе тот факт, что она пользуется значительным доверием в массах, без которого была бы невозможна ее работа. И развитие ее отрицательных черт становится тогда яснее. Впрочем, в первом периоде, когда марксистский анализ не

был для советских исследователей чем-то запретным, то представлялось бесспорным, что именно там надо искать корни.

Я упоминал во вступлении основные пункты этого анализа: экономическая распыленность, огромное преобладание крестьянского населения, обстановка, одновременно и разрушительная и конструктивная, перестройка государственного аппарата гражданской войны. Эти моменты в значительной степени определили собой позднейшее развитие. Господство бюрократии не было чем-то случайным: оно было определено невозможностью непосредственного осуществления рабочим классом политических и экономических задач, поставленных победоносным переворотом. Создание бюрократической амальгамы, ее безусловное господство, были до известной степени дополнительными издержками переворота. Распыление, уничтожение, деклассирование пролетариата, вот тот факт, который определил его слабость не только в 1924 или 1925 годах, но гораздо раньше.

Не надо забывать об одном: процесс революционного развития будет непонятен, если мы будем смотреть на него с одного пункта, хотя бы и подтверждаемого как нельзя более цифрами, экономическими данными и т. п. Суть процесса можно охватить, во всей его логике, только если мы проследим все его изменения, проникнем в его эволюцию, не только в поверхностные, но и фундаментальные его изменения. Только так и возможно разобраться в социальной формации, которая вышла из революции. Только с этой точки зрения и можно рассматривать вопрос об отношениях между бюрократией и пролетариатом.

О том, насколько не случайна была эта эволюция, насколько глубоко были ее предпосылки во всей структуре страны, свидетельствует оборот некоторых вопросов, возврат к применению методов первого периода. С этой точки зрения чрезвычайно интересны замечания, разбросанные по статьям Троцкого, на тему о методах советской экономики в новейший период. Стоит отметить в особенности аналогию с военным периодом. Троцкий при том здесь тем более компетентен, что, как он сам подтверждает, упреки в употреблении военных методов в экономике сыгнали важную роль в направленной против него кампании. Теперь он может бросить обратно это обвинение, заявляя: «В действительности работа ведется теми же методами,

которыми велась война». Он справедливо указывает на то, что главным показателем тут служит чрезмерность внеэкономического принуждения и контроля и примитивно военный характер тех методов, в которых еще стоит на первом месте убеждение.*

Это вызвало повторение типичных с социальной точки зрения явлений того периода. Я уже упоминал о колоссальном численном росте бюрократии. Если период новой экономической политики характеризовался сокращением аппарата, то в период пятилетки мы вновь наблюдаем колоссальный рост числа чиновников, вызванный, впрочем, аналогичными причинами.*

* «Стоит лишь взглянуть на первую страницу всех теперешних советских периодических изданий: все подделано под военные лозунги: фронт, мобилизация, прорыв, кавалерия... Тогда как в ужасных условиях гражданской войны после долгих колебаний был введен, в качестве временной меры, орден Красного Знамени... Теперь введено 4 ордена или еще больше». («Бюллетень Оппозиции», № 31).

Тут можно бы вспомнить упоминавшийся уже тезис о завоевании завоевателей культурой побежденных; та культурно-административная школа, через которую прошел советский аппарат, в значительной мере напоминает военную, в первую очередь, культуру старой администрации; в силу этого, даже в вопросе экономической перестройки, военные средства представляются самыми плодотворными и самыми подходящими.

* В срединном году пятилетки, в 1930 году, при общем числе работающих в 13 129 тысяч человек, в крупной промышленности было 3 029 тысяч, а служащих 4 596 тысяч. Вот, для сравнения, соответствующие цифры за 1926-27 год: общее число работающих — 10 990 тысяч; рабочих в крупной промышленности 2 439 тысяч, служащих 3 921 тысяча. В этот период бурного роста промышленности число рабочих выросло на 590 тысяч, а служащих на 675 тысяч. Характерно, что все это происходило в период борьбы с бюрократизмом под лозунгом сокращения учреждений. В тогдашних условиях часто возникал некоторого рода оптический обман: появление каждого десятка тысяч новых рабочих встречали триумфальным маршем; но одновременно с ними появлялись и десятки с лишним тысяч новых служащих, которых встречали без всякого триумфа, с жалобами на бюрократизм. Тем не менее, число служащих росло сильнее. И так идет и дальше. Соответствующая статистика за 1931 год, составленная по иному принципу, показывает следующее: в промышленности вместе со служащими занято 5 114 тысяч; непродуктивные группы — 5 019 тысяч; если прибавить чиновников и фабричные штабы, то вторая группа опять-таки окажется больше, чем первая. Колоссальный рост числа служащих вызвала коллективизация: советская печать приводит на этот счет прямо-таки фантастические данные.

Конечно, ценность таких сопоставлений всегда относительна; но, в данном случае, сравнение динамики этих двух слоев говорит о многом.

Конечно, цифры еще не особенно много говорят о конкретном отношении массы к данному процессу бюрократизации, по крайней мере если говорить о самых активных элементах. Те изменения в структурном составе пролетариата, которые вызвала пятилетка, имеют в одном отношении ход, аналогичный военному периоду: наблюдается колоссальная эмиграция рабочих в аппарат. Правда, тут можно бы было подчеркнуть демократичность этого явления; действительно, с точки зрения своего происхождения и состава, советская бюрократия — самая демократическая, самая народная на свете. Но с социальной точки зрения дело обстоит не так просто. Вхождение сотен тысяч рабочих в государственный аппарат захватило самые активные и самые развитые элементы. На освободившиеся места влилась масса выходцев из деревни и людей из иной среды, элемент, для которого характерны деревенская пассивность и апатичность. Создавшаяся амальгама отличается от прежних тем, что по своей сознательности она стала гораздо ниже, а по своей податливости гораздо выше.

Официальные идеологи отрицают существование каких бы то ни было не только конфликтов, но хотя бы и различий между интересами рабочего класса и аппарата. Они рассматривают как злостный вымысел всякую констатацию подобных различий: рабочее государство, и все тут! Я приводел выше мнение Ленина, который категорически протестовал против отождествления государства и рабочего класса и доказывал необходимость охраны специальных интересов рабочего класса, моральных и материальных, от покушений со стороны аппарата. Отсюда постулат существования профсоюзов, органов, представляющих рабочий класс «в целом» (в отличие от партии, представляющей его авангард) и независимых от аппарата. Выражение, примененное к этому конфликту Лениным, «не классовая экономическая борьба» имеет совершенно ясный смысл — оно подчеркивает, что тут нет принципиально противоречия, как между пролетариатом и буржуазией, ибо тогда на повестке дня стояла бы классовая борьба, а не различие интересов. Итак, нет сомнения, что хотя с тех пор, когда возникла эта формулировка, многое переменилось, соотношение между этими двумя силами осталось таким же. Профессиональные интересы бюрократии, связанные с экономическими привилегиями, толкают ее с одной стороны к расширению выгод, связанных с от-

правлением власти, а с другой к расширению аппарата за пределы рациональные с экономической точки зрения.

Защита от контроля со стороны масс влечет за собою ликвидацию пролетарской политической демократии, произвольную власть, применение принуждения в широких размерах. Расширение размаха применения этих средств продолжается по мере роста чувства обеспеченности и уверенности в себе. Однако, и тут надо остерегаться чрезмерного упрощения картины конфликтов и приписывания слишком большой роли принуждению. Дело обстоит сложнее.

Бывает, что даже люди, добросовестно подходящие к делу, отрицают существование в СССР рабочей аристократии или даже чего-либо ей подобного.

В данном случае ошибка происходит из-за различия условий выделения этой прослойки. Если приглядеться к этим различиям, то можно увидеть, что раздел в этой области в СССР еще больше, чем на Западе. В советской печати все время приходится читать об энтузиазме, об энтузиастах. И, конечно, колоссальные экономические успехи Советского Союза надо в значительной степени отнести за счет этого энтузиазма передовых рабочих. Однако же, энтузиазм в таких масштабах составляет уже экономическое явление и имеет свое отражение в экономических различиях. Военно-спортивные способы стимулирования, как орденомания и рекордомания, специально и умело развиваемые, это — средства, действенные лишь на короткий срок. На более долгое время могут действовать различия в степени материального обеспечения. Слой передовиков, ударников, которые зажигают своим примером, которые определяют нормы для остальных рабочих, в материальном отношении обеспечивается государством совершенно исключительным образом. И, вообще говоря, поскольку наблюдается снижение общего жизненного уровня, эта разница делается еще важнее.

Огромное значение имеет устранение тех препятствий, которые капиталистический строй ставит выдвижению наиболее способных единиц из рядов трудящихся масс. Более способный, более сильный работник действительно имеет возможность быстро подняться вверх. Если читать биографии «героев труда» в репортажах или в советской беллетристике, приходят на память биографии наполеоновских солдат, их стремительное продвижение по

службе. Если в советской печати попадают также слабо завуалированные упоминания о плохом обеспечении рабочего, об ухудшении качества продуктов и о тому подобных явлениях, сопровождающих развитие промышленности и рост общественных ценностей, то надо принимать во внимание и явления, рекомпенсирующие, по крайней мере для большей части рабочих, недостаточно высокий жизненный стандарт. Именно огромное расширение бюрократического аппарата, при всех своих отрицательных с экономической точки зрения сторонах, позволяет этому аппарату постоянно всасывать самые активные элементы рабочих. Этим объясняется также и равнодушие слоя передовых рабочих в отношении к злоупотреблению принуждением и бюрократическому произволу и, в конечном счете, к вопросам всеобщей демократии. С другой стороны, мы мало что поймем, если будем принимать во внимание только факт временного снижения жизненного уровня в течение последних лет, понижение фактических зарплат, рост принуждения и т. п. без учета того, что буржуазные социологи называют продвижением по общественной лестнице.*

Если Ленин подчеркивал различие интересов аппарата и рабочего класса, необходимость обороны интересов этого последнего и учета ее в программе партии, то не с тем, понятное дело, чтобы поднимать рабочих против государства, но с тем, чтобы избежать чрезмерных неудобств, к которым повело бы непризнание этих особых интересов. Уничтожение возможности этой обороны, передача ее исключительно опекающему аппарату, не отменило самого факта сопротивления. Это сопротивление продолжает существовать, но, в связи с тем, о чем говорилось выше, приобретает пассивные, стихийные формы, лишенные какой бы то ни было организационной формы. Таким суррогатом сопротивления является пресловутая «текучесть» рабочей силы, являющаяся, собственно говоря, пассивной формой экономической борьбы, между прочим, не менее

* Другое дело, что формы данной дифференциации носят неслышанно-обнаженный характер. Колоссальное значение имеет то, что распределение продуктов производится государством. На этом в первую очередь основывается создание привилегированных групп передовиков, ударников, старательно выделяемых из остальной массы рабочих и ставящихся в особо выгодные условия, результатом чего является, в то же время, что они часто бывают окружены враждебностью прочих трудящихся.

разрушительно влияющей на промышленность, чем открытая экономическая борьба. Массовый уход с места работы и переход на другие предприятия вызывается стремлением к повышению заработка и, по сути дела, не лишен действительности. Для природы конфликта характерны способы борьбы. Как противодействие этому положению вещей был опубликован, как известно, за последние годы, целый ряд указов, имеющих целью прикрепить рабочих к заводу и сделать для них невозможным перемену условий работы. Если эти декреты не были выполнены до самого последнего времени, то это потому, что аппарат не справлялся с их выполнением. Этот возврат к способам внеэкономического принуждения в применении к рабочему классу в свете последних мероприятий выглядит необычайно решительным. (Указы против прогульщиков). Введение обязательных паспортов позволяет довести полицейскую проверку трудящегося населения до максимальной точности. К этим средствам надо еще прибавить подчинение рабочих кооперативов непосредственному управлению фабричной дирекции. Эти меры увенчала окончательная ликвидация следов автономности профсоюзов, как возможных очагов легального сопротивления.

Значение этих средств, может быть, более важно, чем думают их составители. Это превосходный комментарий к теории исчезновения классов и завершения построения социализма при непрестанном увеличении мощи государства, всемогущества власти и т. д. Не следует предполагать, что люди, которые вводят в оборот такие концепции, отдают себе полностью отчет в их последствиях; они это делают под напором непосредственных потребностей момента или того, что они расценивают, как такие потребности. Это делается, в значительной мере, для охраны существующих достижений администрации и сохранения ее авторитета. Но этот авторитет опирается уже на другие основы, чем тогда, когда он прежде всего опирался на доверие масс. Несомненно, что начатые сейчас мероприятия приведут к переходу экстенсивных форм имевшегося до сих пор сопротивления к более интенсивным. Рабочий, которого лишают возможности проскальзывать в обход системы, кочевать с фабрики на фабрику, будет тем не менее стараться улучшить свое положение, и тут он столкнется с бюрократической системой лицом к лицу. Сложная система дифференциации, ставка на выделение пере-

довых рабочих может оказаться недостаточной перед лицом экономических трудностей, уходящих корнями во всю предшествующую политику.

Конфликты и общность.

Эти противоречия должны были найти свое — впрочем ослабленное, — выражение в антагонизме между правительственным аппаратом в тесном смысле слова и более широкой массовой организацией — партией. Противоречие между ними имеет свою давнюю историю — я не буду здесь ее излагать. Как я уже указывал, ограничения свободы слова восходят ко временам предшествующим нынешнему режиму. Во всяком случае, из этих временных спорадических ограничений были сделаны окончательные выводы: запрещение фракций превратилось в запрет каких бы то ни было политических и идеологических споров. Принцип непогрешимости руководства превратил всякую идеологическую работу в некий ритуал, представляющий все меньше содержания. Ряд перестроек, перетасовок, чисток вел к низведению низовых организаций к роли простого орудия, имеющего целью выполнение директив сверху. Разрыв с принципами рабочей демократии по самой своей природе должен был парализовать самостоятельные движения низов. Но, хотя эти организации и не имели никакого реального влияния на ход событий, они все же ухитрялись, путем своеобразного пассивного сопротивления, корректировать целый ряд правительственных мероприятий. Партия не утратила своего характера классовой организации; низовые организации, обязанные находиться в постоянном контакте с массами, под их по необходимости молчаливым давлением, смягчают остроту распоряжений, в особенности сильно затрагивающих интересы массы. Тут сказывается классовая солидарность, но часто и простой инстинкт самосохранения. Этим в значительной степени объясняется удивительный на первый взгляд — часто прямо-таки погромный — характер вмешательства аппарата в работу целых ведомств, как сельскохозяйственные учреждения, литературные организации и т. п., о котором мы уже упоминали. Даже посаженные сверху руководители на низших инстанциях не всегда соблюдали предписанную позицию и часто бывали принуждены вли-

ваться в общее русло сопротивления. (Этим же объясняется невыполнение упоминавшихся указов о работе на заводах, о котором свидетельствует хотя бы постоянное их возобновление, начиная с 1930 года). Разъединению внутренней спайки содействовал, конечно, колоссальный численный рост членов партии. (В течение десятилетия с 1922 по 1932 год — с 401 800 до 1 632 816 членов). Эти изменения характеризуют поворот в направлении вербовки, которая, что бы ни говорить, придавала партии подлинные черты политического авангарда. В массовых мобилизациях в период пятилетки, последовали мероприятия, не всегда монолитные, но ориентированные в одном направлении. Без сомнения по напоминанию сверху, последовало массовое представление заявлений со стороны целых фабричных цехов, если не целых предприятий, колхозов и т. д. Принадлежность к партии стала отличием, одной из наград за хозяйственную деятельность данного лица. Вступление в партию потеряло индивидуальный характер, выделявший политически активных индивидуумов. Характерное явление представляет собою в этом отношении массовое вовлечение людей старшего возраста, рабочих с долголетним заводским стажем и т. п. Надо отметить, что это явление отличалось от подобного ему массового расширения кадров в период гражданской войны, которое происходило в значительной степени за счет элементов, имевших политическую подготовку, часто полученную в период борьбы с царизмом в рядах других социалистических партий. Призывы же последнего времени охватывают людей, которые оставались на стадии «аполитичности» в течение двух, а то и трех десятилетий. Понятно, что, в силу этого контингент людей, обладающих более основательной политической сознательностью был еще сильнее разбавлен тем, что в России называлось в старое время обывательским элементом, в смысле мещанства. Этот элемент, по своей аполитичности и по своему органическому направлению, часто карьерно и консервативно настроенный, во многих отношениях лучше всего соответствовал запросам правительственных верхов.

Эту организационную политику можно бы сравнить с денежной инфляцией. Как там, при внешней видимости увеличения находящихся в обращении сумм, происходит разжижение денег, так и тут, в результате упомянутых мероприятий последовало постоянное разжижение силы

местных организаций, при их росте в численном отношении. Но подобно тому, как при инфляции неизбежно появляются новые деньги, которые становятся реальным мерилом ценности, так и в данном случае растворение правящей партии вызывало появление заменяющего ее элемента. Оно произошло относительно недавно в виде создания специальных групп (в деревне, в коллективах они называются политическими, на заводах производственными и т. п.). Они постепенно захватывают полностью контроль над производственными отношениями, вытесняя прежние ячейки, явно теряющие свое значение. Тут имеет место явление известной борьбы за влияние, в котором побеждает, как легко угадать, новый пришлец. Таким путем правительство вновь получает в руки инструмент, гораздо более надежный, чем прежний, поскольку он не связан местными, более интимными связями с массой, целиком зависимой от верхов; тогда как ячейки представляют еще следы своего выборного характера.

Этот обновленный бюрократический аппарат, хотя и выделившийся из старой организации и связанный с ней, будет по самой своей природе стараться ограничить ее задачами пропагандно-просветительного характера, свести ее к чисто декоративной роли и закрыть ей возможности возврата к прежней роли политической организации широких масс. Эти тенденции надо рассматривать в связи с фактической ликвидацией профессиональных союзов — и тогда картина долголетнего процесса ликвидации массовых представительных учреждений обрисовывается во всей своей логике. Слабую сторону этих методов составляет тот факт, что их успех возможен только при дальнейшем росте политической апатии и абсентеизма масс.

Полное уничтожение бюрократии на данном этапе развития можно считать невозможным — она является продуктом экономических и социальных условий данного периода. Борьба пролетариата и бюрократии возможна только в плоскости ясного определения границ взаимных интересов, полного уяснения конфликтов, она возможна лишь на почве рабочей демократии.

Анджей СТАВАР

Имеется еще в продаже первый специальный номер «Культуры» на русском языке. В номере — статьи и эссе Ю. Мерошевского, Чеслава Милоша, Юзефа Чапского, Густава Герлинга-Грудзинского, Юзефа Лободовского. Цена номера 3 франка.

И. Иванов: Есть ли жизнь на Марсе?

Сатирическая повесть об антисемитизме в СССР. Рукопись была получена из Советского Союза и издана «Культурой» на польском и русском языках. Цена: 7 фр.

ACHEVE D'IMPRIMER SUR
LES PRESSES DE LA SOCIETE
D'IMPRIMERIE PERIODIQUES
ET D'EDITIONS, 32, RUE DE
MENILMONTANT, PARIS (20°)
EN JUILLET 1971

KULTURA

REDAKTOR : JERZY GIEDROYC

Adres Redakcji : 91, avenue de Poissy, 78-Maisons-Laffitte.

Telefon : 962-19-04

PRZEDSTAWICIELSTWA

	Egz. poj.	Prenumerata	
		1/2-roczna	roczna
AFRYKA POLUDNIOWA : Roman Krolkowski, 507 Westmorland, O'Reilly Road, Johannesburg	R. 1,—	R. 5,85	R. 10,—
ARGENTYNA : Tadeusz Dabrowski, « Libreria Polaca », Serrano 2076, Buenos Aires, Suc. 25	F. 7,50	F. 45,00	F. 82,—
AUSTRALIA : « Vistula » (Australia) Pty. Ltd., Daking House, Rawson Place, Sydney N.S.W. 2000	\$ A. 1,50	\$ A. 8,00	\$ A. 15,—
AUSTRIA : Henryk Odlanicki-Poczobut, Wien I, Schönlaterngasse Nr 5/2, Stiege/Türe 14, Tel. 52-40-762	—	Sch.A. 200,00	Sch.A. 38,—
BELGIA : Janina Korab Brzozowska-Csaky, 19, Amédée Lynen, app. 57, 1030 Bruxelles, Nr konta pocztow. 7315-20. Tel. 18.69.23	F.B. 75,00	F. B. 400,00	F. B. 750,—
BRAZYLIA : Janina Pomian-Platkowska, rua Guara 143, villa Pompeia, Sao Paulo. Tel. 62-0523	\$ US 1,50	\$ US. 8,00	\$ US 15,—
FRANCJA : do nabycia w redakcji « KULTURY » i w księgarniach polskich w Paryżu	F. 7,50	F. 40,00	F. 75,—
HOLANDIA : Inz. J. Minkiewicz, Wielingenlaan 6, Vlissingen, (01184) 4073, Postgiro 1379176	Fl. h. 5,00	Fl. h. 28,00	F. h. 54,—
KANADA : Krystyna Krakowska, 5109 Blvd de Maisonneuve O., Montreal 260 Que., Tel. 482-4673; B. Krasuski, 8 High Park Blvd., Toronto 3, Ont.; Rev. Donald Malinowski, 361 Burrows Ave., Winnipeg 4, Man., Tel. 586-3825; Z. Micherdzinski, 51 Oriole Parkway, Toronto 195, Ontario; Jozef Polkowski, 110 Cobourg Street, apt. 301, Ottawa 2, Telefon: 233-7212; « ZWIAZKOWIEC », 1475 Queen St. W. Toronto 3, Ont., Tel. LE 1-2491	\$ Can. 1,50	\$ Can. 8,00	\$ Can. 15,—
NIEMCY : St. Mikieluk, 8 München 45, Gablonzerstr 7/1 ..	DM. 5,50	DM. 30,00	DM. 55,—
NORWEGIA : Br. Lubinski, Klommenstengt 8, Moss	F. 7,50	F. 45,00	F. 82,—
SZWAJCARIA : Maria Wasung, 6, rue des Lilas, Case postale, 1211 Genève 7. Tel. 33 34 20, Nr konta pocztow. 12.14431	F. S. 6,00	F. S. 35,00	F. S. 65,—
SZWECJA : Norbert Zaba, Kallskärsgatan 3/IV, 115 33 Stockholm.	K. S. 7,50	K. S. 40,00	K. S. 75,—
U.S.A. : S. Dobczynski, Alma Shipping Co, 121 St. Marks Pl., New York N.Y. 10009; L. Dudarew-Ossetyński, 1603 No Fuller Ave., Hollywood, Cal. 90046; S. Dziarczkowski, 2402 Cheremoya Ave., Hollywood, Cal. 90028; Ada Dziewanowska, 41 Katherine Rd., Watertown, Mass. 02172; Adam J. Galinski, 1727 Mass. Ave. N.W. Washington, D.C. 20036; T. Konopacki, 11839 Edgewater Dr., Lakewood, O. 44107, Tel. LA-1-2305; Christian M. Kretowicz, 4477 Wilson Av., San Diego, Cal. 92116; V.B. Kwast, 376, Wallingford Terr., Union, N.J. 07083, Tel. MU 8-0346; Polish Amer. Book Co., 1521 W. Haddon Ave., Chicago 111. 60622; E. Posyniak, 595 Fillmore Av., Buffalo N.Y. 14212; Praca, 2419 Memphis St., Philadelphia, Pa 19125; The Polish Book Importing Co., 410. Matchaponix Ave., Jamesburg, N.J. 08831. R. J. Sas-Babczynski, 15717 Woodruff Ave., Nr 44, Bellflower, Cal. 90706, Tel. 867-1857; Jan Wojcik, 674 Farmington Ave., New Britain, Conn. 06053; Jan Zych, 5436 Chopin, Detroit, Mich 48210, Tel. 899-5165	\$ US 1,50	\$ US. 8,00	\$ US 15,—
W. BRYTANIA : P.C.A. Publications Ltd., 20, Queen's Gate Terrace, London, S.W.7.	12 sh.	£ 3.10.00	£ 6.00,—
WLOCHY : Witold Zahorski, Roma, via Gallia 60 int. 27., Tel. 75-67-241	L. It. 900	L. It. 4600	L. It. 9,—

W krajach niewymienionych prenumerata roczna F.82; półroczna F.45.
Przesyłka pojedynczego numeru: 0,70 F.

Należności można wpłacać przekazem pocztowym na konto pocztowe:
INSTITUT LITTERAIRE, 91, avenue de Poissy, 78-Mesnil-le-Roi,
par MAISONS-LAFFITTE — C.C.P. PARIS 18-228-56 (z Francji)
lub C.C.P. PARIS 18-228-38 (z zagranicy).

Włoski korespondent „Kultury”: G. HERLING-GRUDZINSKI
Napoli, via Crispi 69. — Telefon: 66 57 28.

Wydawca: INSTITUT LITTERAIRE
91, avenue de Poissy, 78-Maisons-Laffitte
Le directeur de la publication: Jerzy Giedroyc.

Dépôt Légal : 3° Trimestre 1971.

Библиотека „Культуры“

МАРЕК ХЛАСКО

Красивые, двадцатилетние

ЕЖИ АНДЖЕЕВСКИЙ

Апелляция

СТАНИСЛАВ ВЫГОДСКИЙ

Задержан до выяснения

СЛАВОМИР МРОЖЕК

Два письма и другие рассказы

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ

Русская революция

АНДРЕЙ САХАРОВ

Размышления

ВЛАДИСЛАВ БЕНЬКОВСКИЙ

Движущие силы и тормоза социализма

PRIX: 11